

## Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории

Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории // «Вопросы философии». Институт философии АН СССР. – М.: «Правда», 1989.

С каждым десятилетием, а в последнее время чуть ли не с каждым годом, русская история выигрывает в интересе, значении и важности. Мы начинаем серьезно сожалеть, что знаем ее слишком поверхностно и мало. Такие же сожаления слышатся теперь нередко и от европейских историков и ученых.

Когда-то история привлекала, как любопытная сказка о старине. Быль могла тогда безнаказанно перемешиваться в ней с небылицей. История в этом виде тешила воображение и подстрекала интерес повестью о прошлых временах и отдаленных предках.

После история стала поучением и справкой. Чту и как происходило прежде, служило указанием и советом в практической деятельности. История обратилась в архив старых политических и государственных дел, в том числе и неоконченных.

Напоследок история делается источником и зеркалом народного самосознания. На перепутье двух периодов, в межеумочное время, когда ход народной жизни оставляет привычное вековое русло и ищет новых путей, колеблясь между несколькими, наивная справка с деяниями предков не может уже вразумить насчет того, чту и как делать, да и нет уже больше того ясного настроения души и того досуга, какие необходимы, чтоб восхищаться полуволшебной сказкой, художественным сочетанием исторической правды с выдумкой. Торная дорога кончилась; предстоит идти целиком, наугад, ощупью, и тогда-то наступает время глубокого раздумья. Народная мысль разрешается в целый ряд вопросов, догадок и предположений, посреди которых мало-помалу и созревает народное самосознание, единственный верный руководитель на этой ступени развития.

– 172 –

Но трудно и тяжело дается самосознание. Сначала история допрашивается подробно, но пристрастно судьями, у которых решение готово заранее. Вопросы предлагаются ей нарочно так, чтоб получить желанный ответ. Такие ответы еще не история, не истина; по ним узнается не то, что было, а то, чего домогался, что хотел видеть историк. Только впоследствии возмужавшее и окрепшее народное самосознание приходит к правде в истории и вступает на твердый путь в практической жизни.

Русская история прошла все эти фазисы, кроме самого последнего. Она являлась и сказанием и поучением. События и главные деятели рассматривались в ней с самых различных точек зрения; однако и до сих пор наше народное самосознание еще не установилось. Кто скажет, что мы себя знаем и, понимаем? С каждым новым шагом вперед мы, напротив того, по знаменитому слову Сократа, убеждаемся более и более, что почти совсем себя не знаем. Наша мысль не в соответствии с нашей верой в самих себя, в нашу народную мощь, в предстоящие нам великие судьбы; наши взгляды на русскую историю, наша оценка исторических событий и деятелей России оказываются, одни за другими, детским лепетом незрелой и нетвердой мысли и забываются так же легко, как возникают. При кажущемся мирном и спокойном, отчасти даже сонном, строе нашей жизни, какой-то быстрый водоворот кружит нашу мысль, унося, одну за другой, все

слабые попытки кристаллизировать наше народное самосознание в сколько-нибудь определенные формы.

Умственное наше бессилие никогда, может быть, не чувствовалось так глубоко, как теперь. Россия, без малого за двести лет, круто двинутая на новый путь, теперь снова и так же круто, хотя и в иных формах, поворачивает в другую колею. Целый круг понятий и взглядов, нажитый в минувшие два века, изменяется. Точно будто поднимается завеса и перед глазами открываются новые перспективы, которых мы до тех пор и не подозревали. Примкнув к семье романских и германских народов, мы твердо уверились, что нам предстоит и двигаться в круге идей и направлений, выработанных их жизнью и трудами; а на поверку оказывается, что общего у нас с этими народами одни только свойственные всем людям стремления и задачи, все же остальное – вовсе непохоже на европейское, и мы, может быть, более чем когда-либо

– 173 –

предоставлены собственным средствам и усилиям. Теряя наглядный образец, созерцанием которого лениво себя убаюкивали, мы теперь невольно начинаем спрашивать самих себя: что же мы такое, что нас такими сделало и куда мы идем? Эти вопросы поднимаются у нас теперь со всех сторон; во всем, что у нас ни думается, ни делается, видны попытки отвечать на эти вопросы. В литературе и искусстве одинаково слышится задача понять себя, уяснить себе смысл и значение нашего исторического существования.

Посреди этой заботы на первый план естественно выдвигается изучение русской истории. События и лица, казавшиеся нам до сих пор известными и переизвестными, подвергаются новому исследованию, воссоздаются в искусстве, перерабатываются в ученых трудах. Из лаконического летописного сказания, из сухого свидетельства официального документа мы стараемся вызвать оживлявший их дух, усиливаемся воскресить прошедшее во всей его животрепещущей правде. Мы начинаем чувствовать, что происшествия, решавшие судьбы русского народа, что лица, игравшие большую роль в самые знаменательные эпохи нашей истории, подернуты каким-то туманом, не имеют ярко очерченного образа, и вот все старания направлены к тому, чтоб разогнать этот туман, сорвать таинственный покров. В какой степени удачны эти усилия – другой вопрос; несомненно только, что работа, вызванная новым оборотом нашей истории, идет вперед, и, оглянувшись недалеко назад, нельзя не заметить, что уже произошла некоторая перемена в наших взглядах на прошедшее, верный признак, что народное самосознание зреет, что время его наступает.

Петр Великий и его эпоха не могли быть обойдены, или остаться незамеченными при таком усиленном общем нашем стремлении к самосознанию. Не поняв Петра, нельзя понять России: он много для нее сделал; его глубоко любили и глубоко ненавидели современники и потомки; следы его неизгладимы в русской истории; но для верной оценки Петра Великого наше время едва ли не самое неблагоприятное. Мы всеми путями порываемся выйти из того периода русской истории – периода заимствований у Европы, – который он собою открыл и начал. У его подножия еще идет горячий спор об историческом наследстве, которое он по себе оставил. К Ивану Грозному,

к эпохе самозванцев, к Алексею Михайловичу мы относимся спокойно и объективно; все это уже давно прошло, забыто, и мы почему-то наивно воображаем, что, интересы и вопросы тех времен давно исчезли без следа. Но Петр как будто еще жив и находится между нами. Мы до сих пор продолжаем относиться к нему, как современники, любим его или не любим, превозносим выше небес или умаляем его заслуги; но число его поклонников редет, а число порицателей растет, по мере того, как мы выходим из поставленных им условий нашей народной жизни, и пока новый наш исторический путь не обозначится вполне, мы все будем колебаться между старой и новой Россией, видеть в совершающемся то возврат к допетровской старине, то продолжение его реформы. Много, много еще пройдет времени, пока для Петра наступит спокойный, беспристрастный, нелицеприятный суд, который будет вместе и разрешением вопроса о том, что мы такое и куда идем.

По какой-то счастливой случайности, профессор Соловьев окончил древнюю русскую историю и перешел к эпохе преобразования именно в то время, когда ряд новых коренных законоположений, пересоздающих внутренний строй петровской России, возбуждает особенный интерес к делу и эпохе Петра, и невольно ставит вопрос: была ли его реформа благом для России или ошибкой гениального государя? Новый труд профессора Соловьева составляет продолжение его «Истории России с древнейших времен». До сих пор вышло только три тома, из которых собственно два посвящены истории царствования Петра; последний том оканчивается полтавской битвой. Судя по этому, надо полагать, что история Петра займет еще по крайней мере три тома. Как в прежнем своем сочинении, так и в новом, достойный ученый держится на строго исторической почве. Труд его не апология и не памфлет, а добросовестный фактический рассказ, перерываемый лишь изредка взглядами и суждениями самого автора. К сведениям, взятым из напечатанных источников, профессор Соловьев прибавляет множество новых, почерпнутых из архивов, что возвышает ученое достоинство его замечательного труда. О высоком интересе нового сочинения профессора Соловьева нечего говорить; история Петра Великого не может не быть интересна в высшей степени; но автор умел придать своей книге особенную

занимательность последовательным и ясным рассказом, искусным расположением частей, отличной группировкой характеристических подробностей. Рельефный материал, над которым он трудился, конечно, облегчал ему работу; но ему принадлежит несомненная заслуга, что он сумел им прекрасно воспользоваться.

Другое сочинение, посвященное Петру Великому, принадлежит академику Устрялову. Оно, можно сказать, только начато. В 1858 году вышли три первые тома, содержащие историю Петра только до 1700 года, т.е. собственно до начала реформ. В следующем 1859 году издан особо шестой том, содержащий историю царевича Алексея Петровича и следственное дело о нем; наконец, в 1863 году вышел четвертый том (в двух частях), в котором рассказ доведен до конца 1706 года. Из этого видно, в каких обширных размерах задуман этот ученый труд. Книга профессора Устрялова богата критическими исследованиями и драгоценнейшими материалами, из которых много чрезвычайно любопытных открыты ученым автором и напечатаны впервые. Всякий, кому дорого имя Петра, дорога Россия, конечно, от всей души пожелает, чтоб автор выполнил свою программу до конца, в том же объеме и с тою же подробностью, как начал.

Из числа сочинений по русской истории, появившихся в последние годы, истории царствования Петра Великого Соловьева и Устрялова – самые крупные и замечательные. Все, без сомнения, уже знакомы с ними, следовательно, передавать вкратце их содержание нет надобности, тем более что, как бы тщательно ни было составлено из них извлечение, оно не может заменить подлинников, исполненных животрепещущего интереса.

Сообщая множество неизвестных доселе фактов, выставя происшествия и лица в новом свете, оба историка значительно подвинули вперед разрешение существенных вопросов не одной петровской эпохи, но и всей русской истории. До сих пор мы не умели связать между собою двух ее периодов, разделенных Петром Великим, и не могли объяснить себе, каким образом родилась и выросла на древней русской почве личность, подобная Петру. На петровский период русской истории мы смотрели как на что-то совершенно новое, не имеющее ничего общего с предыдущим временем; в самом Петре напрасно старались мы отыскать черты, родственные с прежними

– 176 –

деятелями России. Нам представлялось, что у нас в эпоху Петра, словно в волшебной сказке или на сцене, страна, люди, нравы, понятия вдруг исчезли без следа и сменились новыми.

Кроме нас, нет народа в мире, который бы так странно понимал свое прошедшее и настоящее. Ни один народ не разрывается в своем сознании на две половины, совсем друг другу чуждые и ничем не связанные. Подобно нам все европейские народы переживали в своей истории крутые перевороты, иногда по несколько раз; однако ни один из них не смотрит на себя как на какие-то два различные народа. Реформация, французская революция существенно, коренно изменили старый быт и создали новый; но ни дореволюционная Франция, ни дореформационная Германия не отделены в глазах французов и немцев такой непроходимой бездной от теперешнего их быта, как отделена, по нашим понятиям, древняя Россия от новой, петровской. Норманнское завоевание было не только переворотом в целом быте Англии, но даже внесло в нее чуждые элементы, чуждую национальность; однако, несмотря на то, англичанин сознает свою солидарность и связь с Англией донорманнского периода. Одни мы, русские, лишены до сих пор единого

народного сознания. Теоретически, отвлеченно, мы понимаем, что преобразованная Россия и сам Петр не с неба к нам упали; что было же что-нибудь и прежде; что как-нибудь Петр и его реформа были подготовлены; знаем мы, что никакого завоевания у нас в конце XVII века не было, что страна и народ теперь те же самые, что и до Петра. Но все это представляется нам как-то сухо, отвлеченно, книжно, мертво, входит в нашу голову как-то холодно и безучастно, точно результат математической выкладки, вывод из ряда посылок и умозаключений. В непосредственном, живом сознании мы все продолжаем как-то двоиться, и эта половинчатость лежит тяжелым камнем на всем нашем нравственном существе и деятельности.

В этом удивительном психологическом факте есть глубокий смысл. Раздвоенные в народном сознании, мы не можем высвободиться из вопиющего противоречия между нашим взглядом на самих себя и постепенным, величавым ходом нашей истории. События идут у нас как-то своим чередом, точно как будто помимо нашей воли и понимания. Мы сильны инстинктами, неясными

– 177 –

стремлениями, непосредственным чувством и слабы разумением; наша мысль не умеет как-то совладать с фактами и осилить нашу умственную разладицу.

Где источник этой умственной немощи? Он глубоко скрыт в вековой привычке смотреть на себя чужими глазами, сквозь чужие очки. Толстый слой предрассудков, в которых мы не отдаем себе отчета, присутствия которого даже не подозреваем, мешает нам понимать себя правильным образом. Думать и учиться мы стали поздно, гораздо позднее других народов. Это дало нам возможность пользоваться, без больших усилий, тем, до чего другие народы дошли тяжким трудом и горьким опытом. Но зато мы не привыкли думать и, принимая чужие мысли за свои, не выходим из духовного малолетства. Оттого наш собственный опыт остается непродуманным и жизнь наша есть стихийная, неосмысленная. Наши взгляды, убеждения выведены нами не из нас самих и не из нашей истории, а приняты целиком от других народов. Оттого мы и не умеем связать прошедшего с настоящим, и все, что ни говорим, ни думаем, так бесплодно, в таком вопиющем разладе с совершающимися фактами и с ходом нашей истории.

Наша умственная апатия и бессилие так же стары, как мы сами. Напрасно будем мы утешать себя мыслью, что они ведут свое начало от реформы Петра Великого. С тех пор, как мы себя помним, наша мысль всегда была в плену, находилась в вечной кабале, что не мешало фактам и событиям идти своим чередом, на основании указаний практики и потребностей. Правда, практическая наша жизнь и деятельность тоже часто, и даже очень часто, руководились посторонними элементами, вследствие нашего умственного рабства; но в этой сфере чуждые примеси скоро давали себя чувствовать так сильно, что приходилось, волей-неволей, от них отказываться и слушаться одного здравого смысла и народных инстинктов. Но в области мысли и понимания мы испокон века были покорными слугами других, и наша жизнь шла своей дорогой, а голова – своей.

Сперва мы подпали под умственную опеку византийцев и оставались под ней чрезвычайно долго. Греки наводнили нашу страну, торговали в ней, брали с нас дань. Старинные архивы константинопольских патриархов, если б они сохранились, поведали бы нам любопытные

– 178 –

вещи и показали бы, как выгодна была для тогдашних фанариотов русская епархия. Мы не любили греков и считали их хитрецами. Толстой, посланник наш в Турции при Петре Великом, отзываясь о них почти теми же словами, как и старинные наши летописи. Князья, подобные Ярославу I, люди практические, нетерпеливо сносили господство греков и пытались заменить присылаемых к нам из Греции митрополитов своими ставленниками из русских. Несмотря на эти попытки, полное духовное владычество над нами греков продолжалось. Мы жили по греческим законам, питались греческой письменностью, наслаждались греческим искусством и художниками, ездили в Грецию, как позднее в Париж. Это умственное господство над нами греков продолжалось чрезвычайно долго. Следы его тянутся, постепенно слабея, вплоть до Петра Великого.

С Ивана III, московского великого князя, начинается мало-помалу умственное наше порабощение литовско-польскому владычеству. Весьма замечательно, что и это духовное иго, подобно греческому, развивается в обратном отношении к политической силе и значению владычествующего элемента. Чем сильнее становится Московское государство в отношении к Литве и Польше, тем сильнее литовско-польская нравственная власть над нами. Высшей своей точки она достигает в XVII веке и затем постепенно ослабевает, но еще очень заметна даже в царствование Екатерины II. Подобно грекам, литовцы и поляки стремились к нам толпами и пытались внести свои порядки даже в наш государственный строй; но это им окончательно не удалось. Иван III, Иван Грозный, Борис Годунов, Федор Никитич Романов, царь Алексей Михайлович были люди практические и отразили этот напор в государственной сфере; но в общественной жизни, в литературе, в нравах и одежде, во всей области умственного развития мы приняли новое духовное ярмо беспрекословно, несли его так же покорно, как прежде греческое.

Почти в одно время с литовско-польским элементом, именно при Иване III, начинают водворяться у нас элементы западноевропейские. Они усиливаются при Иване IV, играют уже большую роль при Алексее Михайловиче, еще большую при Петре Великом и господствуют почти безгранично при Анне Ивановне. Со вступлением на престол императрицы Елизаветы произошел перелом,

– 179 –

и с тех пор началась чрезвычайно медленная убыль этого нового господства, что продолжается и до сих пор. В течение этого длинного умственного и нравственного служения третьему господину, которое еще не кончилось, повторилось точь-в-точь то же, что было прежде. В государственной и политической сфере мы сравнительно скоро очнулись и стали на свои ноги. Ни Петр, ни Екатерина II, в самый разгар вторжения в Россию иностранных элементов и иностранцев, не жертвовали им русскими интересами и вполне самостоятельно представляли государство; но во всех других сторонах русской жизни, начиная от покроя платья и оканчивая взглядами и убеждениями, иностранные элементы владычествовали у нас безгранично, и мы являли собою все, что есть оскорбительного и отталкивающего в добровольной духовной кабале. Чем сильнее и значительнее мы становились в государственном и политическом смысле, тем угодливее и раболепнее делались перед иностранцами в умственном и нравственном смысле. В царствование императора Александра I невиданный политический блеск и слава идут рука об руку с небывалым у нас до тех пор духовным закрепощением иностранному игу.

В утешение себя мы обыкновенно говорим, что были до сих пор «в науке» у других народов. Но это не совсем точно. Работая умственно разным господам поочередно, мы в действительности мало чему научились. Когда было нам учиться: мы только идолопоклонничали! Учиться – значит узнавать и брать в толк; это предполагает известную самостоятельность, а мы лишь повторяли чужие речи, переводя их на наш язык. Действительное серьезное учение может начаться разве только теперь, когда мы стали догадываться, и то пока еще очень смутно, что пора наконец выйти из духовной кабалы, пора подумать хорошенько над тем, что мы твердим с чужих слов. Если б мы учились серьезно и сознательно, разве были бы возможны наша теперешняя умственная и нравственная скудость, наше слабоумие, невежество, ветренность, безалаберность и всяческое малолетство? Европейские народы тоже учились друг у друга и теперь учатся беспрестанно; мы находим ли у них что-нибудь подобное тому духовному самоотречению, которому мы предавались то в пользу греков, то в пользу литвы и поляков, то в пользу западных европейцев? Нет, нигде ничего подобного не бывало; по одному

– 180 –

этому мы уже можем судить, как далеко ушло наше развитие.

Теперь мы вступаем в новый период исторической жизни. Четвертый акт самоотречения для нас больше невозможен; хотелось бы верить, что он сделался невозможным, потому что мы стали зрелее; во всяком случае, и идолопоклонничать более не перед кем. Внутренний наш быт перестраивается коренным образом, по указаниям потребностей и нужд, не имеющих ничего общего с нашей умственной несостоятельностью. Теперь должна, кажется, наступить пора плодотворного учения и труда, пора серьезной проверки наших взглядов и стремлений. Когда эта пора действительно наступит, мы должны будем волей-неволей глубоко взглянуть в смысл нашей истории, сличить наши исторические воззрения с живою летописью, с тем, что мы теперь, во всех общественных слоях и элементах. Много неожиданностей предстоит нам на этом пути! Мы воображаем, что знаем и понимаем ход нашей прошедшей жизни; придется отказаться от этого

заблуждения; придется убедиться, что мы задаем русской жизни, в прошедшем и настоящем, вопросы, которых она не ставила и не ставит, придаем ей краски, которых она не имеет, представляем себе события и лица совсем не так, как они были в действительности, – все оттого, что живем чужими мыслями, видим себя сквозь чужие очки. В нашей духовной природе, от нашей умственной бездеятельности, образовался, незаметно для нас самих, нарост, который должен быть открыт и разрешится только вследствие серьезной умственной работы и сознательного ученья. Уже теперь, благодаря трудам, подобным истории профессора Соловьева и академика Устрялова, начинают разоблачаться многие предвзятые взгляды и исторические миражи, результат старых и новых предрассудков, не проверенных мыслью и работой. Если мы не видим связи между древней и новой Россией, не понимаем, как могла личность, подобная Петру, явиться в исходе московского периода русской истории, то очевидно, что в наших исторических знаниях должен быть большой пробел; видимо, что мы или не так смотрим на Петра и его дело, или не так понимаем старую Россию, как следует, или, наконец, и наша оценка Московской Руси и Петра и его преобразования неверна. Простой здравый смысл приводит к этому заключению; ибо как бы ни была

– 181 –

велика и могуча личность Петра, как бы отрицательно ни относилось его преобразование ко всему старому – все же он родился в том обществе, которое преобразовал, был дитя своего времени и обстоятельств, и в этом смысле, как он, так и его дело должны же были находиться в органической связи с той средой, из которой возникли и к которой относились. Припомним, что дело Петра пережило его и живет до сих пор; было ли бы это возможно без органической связи нашего прошедшего с настоящим? А отсюда следует, что в нас, в нашем незнании или ошибочных взглядах, должна скрываться причина, почему мы ее не видим и не понимаем.

Исторические исследования оправдывают эти выводы вполне. Как только начали несколько вникать во внутренний быт России XVII века и в тогдашнее положение дел, тотчас же и оказалось, что тогдашний страшный хаос и безурядица должны были разрешиться так или иначе. Исчезло представление об идеальном состоянии, которое Петр будто бы Бог вестъ почему и зачем переломал на иностранный лад. Вообще, по мере того как разрабатывалась русская история, идеалы оттеснялись все более и более в ту седую старину, об которой мы ничего не знаем и узнать не можем. С другой стороны, ближайшее знакомство с Петром и его делами снимает с него тяжкое обвинение в платонической любви к иностранцам, в каком-то чудовищном, небывалом плане вынуть у своего народа живую душу и вдохнуть в него чужую. Освобожденный от риторических прикрас и фимиам похвальных речей и лести, Петр является перед нами живым человеком, с ошибками и удивительными делами, с недостатками и чертами гения, с пороками и великими добродетелями. Сделавшись из мифа историческим лицом, Петр выигрывает в размерах и величии. Голая историческая истина о нем поражает гораздо сильнее, чем вымысел, именно потому, что походит больше на сказку, чем на правду – так она необыкновенна!



Несмотря, однако, на множество прекрасных работ и исследований по русской истории, на обнаруженные в огромном числе новые источники, она все еще так же мало известна и понятна, как и сама Россия. В русской истории поставлено множество вопросов, но пока все еще не хватает сил и средств разрешить их: недостает необходимейших подготовительных работ. Кое-где открываются

– 182 –

просветы; точнее определяются некоторые задачи; рождаются догадки, более или менее правдоподобные, которые и служат пока жалкой заменой дознанной исторической нити, связующей, по-видимому, бессвязные факты и эпохи. Все это только чаяние будущих исторических трудов, черновые заметки для программы будущей русской истории.

В каком же виде представляется, на основании скудных указаний, общий ход русской истории? Где ее главные узлы? Какое значение важнейших ее эпох и событий? На эти вопросы приходится уже теперь отвечать несколько иначе, чем думалось еще недавно.

I

Четыре года тому назад праздновалось тысячелетие нашего государственного существования. Боже! сколько мы расточали остроумия, сколько глумились над собою по этому поводу! Тысячу лет прожили – так рассуждали мы – и чего достигли? Самые неотложные потребности гражданского общежития и благоустройства еще удовлетворяются кой-как в двух-трех центрах громадного нашего царства, а вне их как будто вовсе не существуют. Сколько же столетий нужно нам прожить еще, чтоб стать хоть тем, чем была Европа в XVIII веке? А она, между тем, будет идти вперед не по дням, а по часам.

Рассуждая так, мы сравниваем свое настоящее не с своим же прошедшим, а с посторонним образцом, который у нас под глазами. Вот наша общая, всегдашняя ошибка зрения, которая перепутывает все наши понятия.

Представим себе колониста, который в дикой глуши, разделенной огромными пространствами от жилых и промышленных центров, впервые заведет хозяйство. Как бы хорошо он ни повел свое дело, сколько бы ни создал удобств для своей ежедневной жизни, все его успехи не выдержат никакого сравнения с обстановкой городского и даже пригородного жителя, и мы, чтоб справедливо оценить его труды и усилия, должны будем сравнивать быт, созданный в глуши, не с лучшими образцами в мире, а с теми условиями и обстановкой, посреди которых бросила его судьба, и наперекор которым он сумел-таки заложить основания устроенной и образованной жизни. Мы именно такие колонисты. Судя о том, что мы сделали,

не по тому, что вообще может человек сделать хорошего на свете, а по тому, что мы могли сделать при данных обстоятельствах, мы были бы справедливее к нашим предкам, а главное, почерпнули бы в изучении нашего прошедшего силы на новый труд, тогда как теперь мы растрчиваем их на бесплодное и дешевое остроумничание. Вникая глубже в дело, нельзя не изумляться, сколько мы успели переделать в такое сравнительно короткое время! Невольно приходишь к мысли, что мы не только не ленились, а, напротив, работали без устали. Чтоб достигнуть того, чего мы достигли в прожитые нами века, нужны были чрезвычайные, нечеловеческие усилия.

Начнем с того, что мы прожили не тысячу лет, а гораздо меньше. Раскроем первую нашу летопись, которая писана, во всяком случае, не позже XI века. Составитель ее знает малороссиян и перечисляет разные отрасли этой ветви русского племени; называет северо-западные отрасли того же племени: кривичей (белорусов) и славян; упоминает еще радимичей и вятичей, происшедших от ляхов; но замечательно, что великорусов он вовсе не знает. На восток от западных русских племен, где теперь живут великорусы, обитают, по летописи, финские племена, частью существующие и теперь, частью уже исчезнувшие. Где же были тогда великорусы? Об них в перечислении племен, живших в теперешней России, не упоминается ни слова. Если б они существовали уже в то время, когда составитель летописи писал свои этнографические заметки, то, наверное, он знал бы эту отрасль русского народа и упомянул бы об ней. Из его совершенного молчания следует заключить, что в то время этой, теперь самой многочисленной и по исторической роли самой значительной ветви русского племени, еще не существовало. С другой стороны, мы знаем, что колонизация финского востока началась с XII века. Таким образом, мы имеем всё основание предполагать, что великорусы образовались в особую ветвь не ранее XI века. С того времени они успели сложиться в сильное государство, занять и обрусить огромную территорию. Только на великорусской почве прочно и крепко зародилось русское государство; только здесь мощные его ростки пробивались беспрестанно, пока им не удалось пустить глубоких корней в Москве. В Андрее Боголюбском и Всеволоде, в князьях тверских и рязанских слышатся зачатки государственности,

осуществившиеся трудами и умением московских единовластителей, при благоприятных обстоятельствах и в единственно возможной тогда форме. Пока русская история не ступила на великорусскую почву, этой настойчивой, органической потребности объединиться в государство не заметно, по крайней мере, в такой степени. Разные народы приходят к западно-русским племенам, завоевывают их и берут с них дань, господствуют над ними и потом исчезают или сменяются другими господами. Варяжская дружина была

не первая и не последняя, придавшая западной России извне характер государства. Перед варягами то же делали обры (авары) и хозары, после них литовцы и поляки. Лишь только внешние властители сливались с туземцами, как, напр<имер>, варяги и литовцы, государство расплзлось, и страна становилась добычей новых завоевателей или пришельцев.

Исконная несамостоятельность западной России, неспособность ее образовать единое сильное государство, резко выдвигает вперед характеристическую особенность Великороссии, которой главнейшая жизненная задача как будто исключительно в том только и состояла, чтоб создать и упрочить государство. Этой цели она приносила и приносит в жертву лучшие свои силы. Глубокий смысл такого стремления великорусов заключается в том, что Россия есть единственное свободное славянское государство.

Спрашивается: чту же такое великорусы? Откуда взялись они, когда до XI или XII века они не существовали? Откуда взялся у них этот удивительный смысл к государству – удивительный тем более, что его, в этой степени, не оказалось ни у одного из прочих славянских народов?

Эти вопросы – основные, первые, не только в русской истории, но и в истории всего славянского племени. К сожалению, они-то именно и разработаны всего слабее. Пока мы должны довольствоваться одними догадками, по некоторым намекам и отрывочным указаниям.

Восточная отрасль русского племени образовалась частью из переселенцев из Малороссии и северо-западного края на финской земле, частью из обруселых финнов. Русские переселенцы, под влиянием новых условий, на новой почве, получили иной характер, отличный от первоначального корня, от которого отделились; с другой

– 185 –

стороны, обрусевшие финские племена внесли новую кровь, новые физиологические элементы в младшую ветвь русского племени. Эта ветвь давно отличается от своих родичей заметными, выдающимися нравственными и физическими чертами и, след<овательно>, давно уже успела образоваться и получить свою особую физиономию. К тому времени, когда начало слагаться Московское государство, процесс ее образования уже вполне совершился, новая племенная отрасль сложилась вполне. С тех пор она только окрепала, политически объединялась, расселялась далее и далее и поглощала финские племена, что безостановочно продолжается и до сих пор. Таким образом, в каких-нибудь три-четыре века возникло новое зерно для исторической жизни, завязался новый исторический узел, и притом так крепко и прочно, что, несмотря на все невзгоды, он разросся в следующие три-четыре века в одно из сильнейших государств в мире. Не медленности этого движения надобно удивляться; напротив, изумительна крепость и мощь этого зародыша, который развивался и развивается так быстро. Говоря об истории других государств, существующих многие столетия, мы имеем в виду, иногда не отдавая себе ясного отчета, историю государственного существования племени или народа уже сложившегося, имевшего уже пред тем определенную физиономию; но история русского

государства есть вместе история возникновения и образования целой отрасли русского племени, которая составляет главное его зерно. Между тем и другим есть громадная, неизмеримая разница!

В образовании великорусской ветви, ее расселении и обрусении финнов состоит интимная, внутренняя история русского народа, оставшаяся доселе как-то в тени, почти забытая; а между тем в ней-то именно и лежит ключ ко всему ходу русской истории. Изучая ее пеструю внешнюю оболочку, мы постоянно, до позднейшего времени, теряли из виду внутренний, господствующий в ней факт, и, конечно, оттого мало ее понимали.

На историю постепенного расселения великорусов и постепенного обрусения финнов стали очень еще недавно обращать серьезное внимание. О древнейшем ее периоде письменные свидетельства крайне скудны; для московской эпохи они уже гораздо обильнее; а за последние полтораста-двести лет ее можно проследить по

– 186 –

документам, с величайшей подробностью, – была бы только охота рыться в архивах. Но самым важным и любопытным временем является именно начало колонизации и обрусения финнов, когда великорусская ветвь стала слагаться. Разъяснить, как это совершилось, может только пристальное сравнительное изучение немых памятников старины, русских и финских – названий живых урочищ, языка, областных наречий и этнографии, а за это дело едва-едва у нас только принимаются, и то еще очень вяло. Соображая скудные письменные известия с позднейшим движением колонизации в России, видно, как заметил проф. Соловьев, что расселение направлялось, главным образом, на восток и происходило, по-видимому, самыми различными путями и способами. С одной стороны, поселения двигались из Новгорода, по северу теперешней Великороссии, к Уралу; с другой, заселялись внутренние наши губернии из Малороссии. Как только завязались первые узлы или центры русского населения в этих странах, тотчас же стали выходить от них новые поселки в различных направлениях и самым различным образом. Вольными дружинами заселялся, по-видимому, преимущественно север, из Новгорода. Весьма замечательно, что северное население и до сих пор удерживает своеобразный характер, напоминающий их новгородское происхождение; в гражданском и общественном быту оно заметно выше, развитее. Князья, с своей стороны, тоже выводили колонии; впоследствии государственная колонизация получила правильный ход и громадные размеры. В края, заселенные инородцами или подверженные вторжениям кочевников, русское население продвигалось под прикрытием ряда крепостей, которые отодвигались все дальше и дальше; в других местах, как, напр<имер>, в Сибири в XVII веке, правительство заселяло край добровольными поселенцами, которые привлекались туда разными льготами. При помощи таких же льгот заводила новые поселения и церкви, в особенности монастыри. Могушественным двигателем колонизации была также поместная система, особливо с тех пор, как стали даваться в поместья незаселенные земли (дикие поля); таким же двигателем явилось впоследствии крепостное право, при помощи которого, еще в недавнее время, заселились Заволжская степь и Оренбургская губерния. Наконец, припомним, что в очень ранние времена люди из самых различных

побуждений оставляли общество и основывали новые поселения вдали от человеческих обиталищ. С одной стороны, благочестивые отшельники уходили в пустыни и глушь лесов, чтоб без помехи предаваться молитве и созерцательной жизни: так возникли пустыни, скиты, обители и монастыри, сделавшиеся впоследствии центрами более или менее многочисленного населения. С другой стороны, все тяготившееся тогдашним общественным строем, повинностями, службами и притеснениями, все искавшее простора и разгула бежало в степь и основало независимые казацкие общества. Беглыми людьми и крепостными, еще не очень давно, заселялись Новороссия и Кавказ.

Совокупными действиями всех этих видов колонизация России подвигалась быстро. Пустыри и степи обращались в заселенные места. Когда-нибудь точные исследования восстановят этот процесс постепенного распространения русского племени по огромной территории, и это, конечно, будет одна из замечательнейших и любопытнейших страниц русской внутренней истории.

Столько же интересна история постепенного поглощения финских племен русским. Если не ошибаемся, покойный Сенковский первый обратил внимание на этот знаменательный факт. Наблюдение это так поразило его, что великорусы представились ему чуть ли не славянским прививком на финском корне. В наше время Духинский подхватил этот намек и обратил его в орудие целей, не имеющих ничего общего с наукой и исторической истиной. Для достижения этих целей ему очень хочется доказать, что великорусы не славяне, а монголы, туранцы. Г.Духинский не заслуживает чести опровержения. Доказывать, что мы не по указу Петра или Екатерины называемся русскими, а были ими с тех пор, как себя помним на великорусской почве, значило бы унижать науку. Если б даже фразистая заметка Сенковского была полной исторической истиной, если б великорусы действительно были не что иное, как обрусевшие финны, то и тогда ослабявшийся инородческий элемент, утративший свой язык и самое воспоминание о своей первоначальной народности, следовало бы причислить к славянам; теперешние жители саксонского королевства и немецкого поморья считаются же немцами, хотя они, в значительной степени, онемеченные славяне; жители теперешней Греции считаются же греками, несмотря на то, что в них много

славянской примеси; жители Ломбардии – итальянцами, хотя они, собственно говоря, смесь немцев (лангобардов) с туземными жителями. А мысль Сенковского, вдобавок, не есть историческая истина. Мы знаем несомненно, что финские племена обрусевают; но смешивались ли западнорусские переселенцы с туземцами или вытесняли их и занимали

их места – этого мы не знаем. Если судить по позднему времени, то последнее гораздо вероятнее. Припущенники есть и теперь еще в Башкирии; многие думают, что если бы постепенное мирное вторжение русских в Башкирию не было остановлено административными распоряжениями, то русский элемент значительно бы ослабил башкирский в местах теперешних поселений этого народа. В Оренбургской губернии много деревень с чувашскими названиями, из которых природные обитатели – чуваша – были совсем вытеснены русскими припущенниками, когда последние усилились в числе. Таким образом, мы не имеем права утверждать положительно, что великорусы – смесь финнов с западнорусскими поселенцами. Верно только, как сказано выше, что массы финнов обрусели и что обрусение их продолжается и до сих пор. Тамбовская и Пензенская губернии – обрусевшая мордва: это обличает наружный вид тамошних крестьян и географические названия. Вотьяки (старинная водь) в Вятской губернии русеют на наших глазах; то же заметно на Петербургской губернии, где, по словам окрестных чухонцев, еще около пятидесятих годов в некоторых чухонских деревнях женщины и дети совсем не понимали по-русски, а теперь и понимают и говорят. Любопытные сведения о постепенном обрусении чухонцев С.-Петербургской губернии собраны покойным профессором С.Куторгой, во время его геологических исследований здешней губернии. Знакомые с приволжским краем (бывшей Низовской Землей) сообщают наблюдения, сходные, в главных чертах, со сведениями покойного Куторги; там еще до сих пор можно, не справляясь с историческими свидетельствами, видеть на местах старинное распределение финских племен и направление русской колонизации, можно отличить прежнее местожительство двух ветвей мордовского племени – эрзы и мокши, с их столицами, Арзамасом и Моршанском. Этнографические исследования Тверской губернии, по всей вероятности, повели бы к любопытным результатам относительно старинного

– 189 –

распределения северных финских племен. К сожалению, мы пока очень равнодушны к такого рода историческим вопросам, а между тем финские племена неудержимо обрусевают, и следы старинного быта изглаживаются безвозвратно и бесследно. По тому, что происходит теперь у нас под глазами, чрезвычайно трудно составить себе понятие о том, что и как делалось в начале колонизации в губерниях, теперь совершенно русских – Московской, Владимирской, Костромской, Ярославской. Считать ли большинство жителей этих губерний обрусевшими финнами или русскими поселенцами преимущественно из Малороссии – вот вопрос чрезвычайно важный, но который, может быть, навсегда останется неразрешенным, по недостатку данных; тогда как одно лишь разъяснение этого вопроса может вести к правильному разрешению другого, несравненно важнейшего вопроса: определяются ли отличия великорусов от западнорусских племен другой обстановкой жизни на новой почве, в течение веков, – или же постепенным смешением поселенцев с финскими элементами. И то и другое предположение имеет своих защитников, но ни одно из них не подкреплено пока серьезными и точными научными исследованиями. Профессор С.Куторга указывает в сведениях, сообщенных им Географическому обществу, на много слов, по-видимому, заимствованных великорусским наречием из финского языка, так как они только в финском языке объясняются этимологически. Приведенные им слова относятся к земледелию и домашнему быту, из

чего можно предполагать, что, с этой стороны, русское племя подчинилось влиянию финнов и позаимствовало от них понятия и привычки, которых оно не имело или которые были, по крайней мере, менее развиты и вкоренены у них, чем у финских племен. Но такой важный и решительный вывод, очевидно, не может быть принят в науку и возведен в исторически достоверный факт на основании беглых путевых заметок, собранных в одной губернии. Только подробное изучение великорусского наречия сравнительно с другими русскими и славянскими языками, и в то же время с финскими, может окончательно решить этот вопрос, около которого, повторяем, сосредоточен весь интерес древнейшей истории Великороссии. К сожалению, сколько мы знаем, на такого рода труды пока только

– 190 –

указывается; никто, кажется, за них еще не принимался, по крайней мере они вовсе не известны.

От этнографических элементов обратимся теперь к культуре великорусов.

Всем известно, какое огромное, решительное влияние имеет на развитие и исторические судьбы государства степень культуры, которую приносят с собою переселенцы, образующие в новой стране господствующий элемент. Живой пример тому представляют древние греческие колонии, а в настоящее время английские поселения, раскинувшиеся почти по всему земному шару.

Спрашивается: какую степень культуры принесли с собою в Великороссию переселенцы из западной России? Вопрос этот тоже вовсе не исследован, даже едва затронут. Почти ничего не подготовлено для его исследования, и мы едва ли ошибемся, если скажем, что значительные научные предрассудки и предубеждения существенно мешают и долго еще будут мешать правильному его поставлению, без чего успешная его разработка невозможна.

Одна из существенных, коренных ошибок, затемняющих дело, состоит, кажется, в том, что, исследуя древнейший быт славян, мы безразлично сводим в общие результаты находимое у разных славянских народов; вследствие этого в нашем представлении слагается один общий тип, один общий уровень древнейшей славянской культуры, и этот-то тип мы затем невольно и бессознательно одинаково приписываем всем славянским народам, стоявшим, по-видимому, на различной ступени развития. Этим мы лишаем себя возможности ясно и отчетливо различать то, что в действительности могло быть весьма различно.

Колонизация Великороссии из западной России началась, как мы сказали, по-видимому, в XI или в XII веке, следовательно, спустя каких-нибудь полтора или два века после принятия христианства при Владимире. Это великое событие было делом князя и меньшинства народа и шло, как все великие реформы у славян, сверху вниз; массы народа были погружены в язычество; а история всех народов показывает, как медленно народные верования переживаются в массах и как туго водворялось в них христианство, даже после

того, как оно было признано за господствующую веру. Целые века проходили, пока христианство проникало в ежедневный быт, внедрялось в

– 191 –

народные обычаи, нравы и убеждения. Мы знаем также из истории, что церковь, для достижения этого результата, не только энергично боролась с языческими представлениями, но мудро и осторожно щадила языческие предрассудки, исподволь заменяя их христианскими образами и целым рядом таких благоразумных снисхождений, переводя мало-помалу языческие верования в христианские, пока наконец первые вовсе не изглаживались и исчезали перед новым учением и истинами. Навстречу этим усилиям шло естественное стремление новообращенных – приспособить новое вероучение к своим укоренившимся представлениям, понять и усвоить его себе в формах известных и обычных. Таким образом, языческие представления долго выражались и отчасти развивались под христианскими формами, пока наконец дух христианства не упразднил языческое мирозерцание в самом его основании.

Полутораста или двухсот лет, прошедших со времени крещения Руси при Владимире до вероятного начала колонизации Великороссии, было слишком недостаточно для совершенного перерождения русских язычников. Культура не могла не быть тогда все еще по преимуществу языческой.

Какова могла быть степень этой культуры? При исследовании этого вопроса ученые, нам кажется, впадают тоже в важную ошибку, которая едва ли не есть главная причина безуспешности и безрезультатности всех поисков в этой области, и без того чрезвычайно запутанной и темной. Чтоб дорыться до первоначальных наших языческих представлений и верований, нужно проникнуть сквозь те формы, в которые они облеклись под влиянием новых верований. Уже это одно, само по себе, чрезвычайно трудно, потому что, облакаясь в новые формы, язычество значительно изменяется в самом существе, о котором мы имеем лишь самые отрывочные исторические свидетельства. Посреди такой сбивчивой и необыкновенно тонкой работы воображение невольно разыгрывается. Стертые и однообразные черты, до которых мы доискались, нас не удовлетворяют; мы охотно приписываем скудость и бледность того, что нашли, действию времени, силе разрушающих влияний и дополняем недостающее, по нашему мнению, цветами нашей собственной фантазии, воображаем, что за тем, что до нас дошло, скрывается целая

– 192 –

развитая, полная система языческой мифологии и мирозерцания, которые впоследствии утратились. Гримм открывал, по более развитым и определившимся остаткам



скандинавской мифологии, следы исчезнувших таких же верований у остальных германских народов. Быть может, этот метод не вполне верен и в применении к германской мифологии; в скандинавской мифологии могли полнее и отчетливее развиться, при благоприятных обстоятельствах, зародыши мифологии, которые у прочих германских народов, при других условиях, не успели определиться и дошли до нас в этом начальном своем виде. Мы обращаемся с данными славянской мифологии гораздо произвольнее и дурно подражаем Гримму. Смешивая мифологические данные, собранные у разных славянских народов, мы едва замечаем, что, судя по некоторым указаниям, русский Олимп едва начал слагаться около времен Владимира и, вероятно, потому не удержался в народной памяти. В западной России припоминается еще Перун в названиях урочищ и в некоторых выражениях; у белорусов сохранилось воспоминание о Волосе или Велесе, переделанном в Власия, как Святовид у северных славян преобразился в святого Вита. Прочие боги, которым, по летописи, поклонялись в западной Руси, не удержались в народной памяти и занесены, кажется, от других, славянских и даже неславянских, народов. Вероятно, поэтому они и исчезли без следа. Перун был бог грома и молнии, Волос – бог скота. Вот все, что мы об них знаем. Беднее мифологию трудно себе представить. Нам скажут: это потому, что памятники недостаточны, что христианство тщательно истребляло следы язычества. Но в Западной Европе языческие воспоминания удержались же в народе, несмотря ни на что; у нас литовцы и мордва до сих пор сохранили, с гораздо большей ясностью и определенностью, древние мифологические представления, чем русские племена. Сравнительно позднее водворение между этими народами христианства не опровергает этого вывода: успели же сохраниться в народной памяти западно-русских племен Перун и Волос; если остальные языческие боги исчезли, то это ничему другому приписать нельзя, как тому, что они либо только начали слагаться в то время, когда были застигнуты христианством, либо заимствованы от других народов незадолго до крещения Руси при Владимире.

– 193 –

Очень замечательно, что великорусы не сохранили ни малейшего воспоминания о Перуне; есть только следы Волоса. Все местные названия, все обороты речи, в которых поминается о Перуне, встречаются теперь исключительно только у малороссиян и белорусов. Это подтверждает, что колонизация Великороссии началась уже после принятия христианства, когда воспоминание о языческих богах стало слабеть. Волос удержался, может быть, единственно потому, что был приурочен к православному календарю.

Мифологические божества являются у язычников как плод уже известного развития. Характер божеств, значение их, большая или меньшая определенность их формы в народных понятиях дают мерилу степени этого развития. Судя по таким признакам, мы можем безошибочно заключить, что у русских славян развитие в эпоху язычества стояло на весьма низкой ступени.

Впрочем, мифология еще не вполне исчерпывает языческое мирозерцание. Неопределенность ее форм доказывает только, что оно не успело сложиться в учение, не перешло в сознание. Заметим также, что богатая мифология предполагает, между прочим,

большую силу и живость фантазии которой одарены не все народы, по крайней мере, не все в равной степени. Особенная осторожность необходима в выводах и заключениях, когда речь идет о славянах – племени, которого развитие, по всем видимостям, еще впереди, и призвание в истории еще не обозначилось. Поэтому, не делая никаких окончательных заключений о том, почему слабые, едва намеченные зачатки западнорусской мифологии совсем исчезают на великорусской почве, постараемся определить мирозерцание великорусов в ту отдаленную эпоху, когда эта отрасль русского племени начала складываться.

Было время, когда этот вопрос живо интересовал нас. Обильные материалы для его изучения представляют бытовые народные памятники – песни, сказки, обряды, праздники, поверья, приметы и проч. Как ни мало разработан этот материал, но общие и главные черты древнейшего мирозерцания великорусов выступают из него очень ясно и выпукло. Нас всегда поражал первобытный, непосредственный реализм, которым дышат эти остатки старины. Иносказание, символизм играют в них самую незаметную роль; антропоморфизм является в очень

– 194 –

слабых, первичных намеках и формах; первобытные, грубые факты, которые можно предполагать в основании роскошно развившейся греческой мифологии и далее в основе менее блестящей и поэтической мифологии германской, у великорусов являются во всей своей первоначальной непосредственности. Мы думаем, что в этом смысле исследование великорусских языческих представлений было бы необходимым и лучшим введением к греческой и германской мифологии, как картина мирозерцания, которое и у греков и немцев предшествовало мифологическому периоду, но впоследствии было ими мало-помалу забыто и сохранилось только в немногих, слабых, едва понятных намеках их мифологий. Ключ к этому первобытному мирозерцанию лежит в наших народных поверьях и праздниках, приуроченных к дням и временам года. Рассматривая их, мы найдем, что в основании их лежит первобытное, непосредственное поклонение предметам, явлениям и силам природы, при самых слабых зачатках олицетворения, послуживших у других народов исходной точкой для дальнейшего мифологического развития. На этой ступени культуры человек подчиняется силам и явлениям природы вполне, безусловно, безгранично. Каждый шаг, каждое движение его, дома и вне дома, обставлены обрядами, точное соблюдение которых предохраняет от зла и напастей; никакое действие, даже самое незначительное, не может быть предпринято без соблюдения такого предохранительного и спасительного обряда. Вся жизнь, от колыбели до гробовой доски, совершается, таким образом, среди непрерывных обрядностей и ритуалов, и свободной инициативе человека не оставлено ни малейшего простора. К этому главному, основному элементу древнейшего языческого мирозерцания великорусов присоединяется поклонение умершим, которое переплетается с поклонением силам и явлениям природы, поставлено в зависимость от него и приурочено ко временам года. Нельзя, однако, не заметить, что древнейшее поклонение предкам далеко не ясно; чрезвычайно трудно различить в дошедших до нас фактах первоначальную основу от позднейших западнорусских и вообще славянских влияний, а также от христианских представлений.

Народные бытовые памятники западнорусского населения далеко не имеют такого первобытного,

– 195 –

непосредственно реального характера. В них фантазия играет гораздо большую роль. В некоторых белорусских обрядовых песнях встречаются поэтические олицетворения сил и явлений природы, приуроченные к именам святых. Вообще у западнорусского народа отношение к природе более поэтическое и более свободное; нет того поглощения человека обрядом, как у великорусов. Последние ограждают себя им на каждом шагу от зловредных влияний и сил; у малороссов и белорусов обряд и ритуал не имеют этого заклинательного значения чар; они улетучились в предание и поэтическое действие, не лишенное изящной торжественности, украшающей важные минуты и события жизни, возвышающей их над прозаическим течением ежедневности.

Откуда взялось это поразительное различие, которое теперь мало-помалу сглаживается, но еще лет двадцать, тридцать тому назад бросалось в глаза? Произошло ли оно вследствие влияния финской примеси или вследствие внешних условий и обстановки западнорусских колоний в новой родине? Разрешение этих вопросов пролило бы яркий свет на начало и процесс образования великорусской ветви. Замечательно, что в бывших новгородских колониях обрядовая сторона народной жизни имеет, кажется, более светлый и поэтический характер; но в то же время нельзя сказать, чтоб у одних заведомо обрусевших финнов замечался тот характер обрядности, который мы выше приписали великорусам. При теперешнем состоянии русской этнографии вопрос такой существенной важности неразрешим, и для разных предположений открывается широкое поле. Одно только можно, кажется, вывести с некоторою вероятностью: выселенцы в Великороссию из западной Руси – смешались ли они с туземцами-финнами или нет – переродились в новой родине. Характер их мирозерцания, их обрядов и поверий указывает на какой-то перерыв во внутренней жизни русского племени, который можно объяснить и чуждой примесью и суровой, негостеприимной страной, в которой они поселились. Такого перерыва не было у западнорусов, оставшихся на старых местах, продолжавших развиваться на том же корню, под более благоприятными географическими и климатическими условиями.

Отсутствию культуры в мирозерцании древнейших великорусов отвечало отсутствие ее и в их социальном

– 196 –

быту. Прямыми источниками для его изучения служат опять народные праздники, обычаи, нравы, пословицы; вспомогательным – вся наша история до Петра. Ни в чем, может быть, привычка наша перемешивать разные обычаи и нравы и выводить из этого пестрого материала общие выводы не оказала нам такой плохой услуги, как в понимании русской истории. Наклонность и способность славянского племени, в том числе и русских, к общинной и артельной жизни не подлежит сомнению. В минуты великих общественных бедствий и радостей, при всех чрезвычайных случаях и событиях, эта сторона славянского характера всегда выступает у нас на первый план весьма ярко. Другое дело ежедневная, будничная жизнь. Основная черта народного характера будет стремиться выразиться и в ней; но в какой степени она проникнет собою подробности частного и общественного быденного быта и в каких именно формах выразится – это уже зависит от исторического возраста народа, от условий его развития, от тысячи разных обстоятельств, в которые поставлена народная жизнь. Обстоятельства могут задержать, подавить, исказить народный характер, и, наоборот, могут способствовать его правильному раскрытию. Как в жизни частного человека, так и в жизни народа могут выдаваться целые эпохи, когда основной фонд его характера как будто совсем исчезает, а на самом деле только дремлет и впоследствии снова выступает наружу. Потому-то большая ошибка задаваться каким-нибудь, хотя бы неоспоримым, несомненным народным свойством и делать из этого посылку, что оно непременно выражалось в каждую эпоху жизни того народа, даже когда нет на это никаких исторических указаний, или когда данные противоречат такому выводу; большая ошибка смешивать быт разных ветвей одного и того же народа и известные черты, встречаемые у одной из них, переносить на другие.

В жизни западной России, уже в отдаленную эпоху, заметно большое движение; есть городские общины, есть какие-то зачатки феодальных отношений, есть намеки на аристократические элементы. Очень рано появляется дележ наследства – признак развития начала личности. Таким образом, в западнорусском населении общественный быт и отношения представляют в начале истории некоторое разнообразие и сложность. Следы этого сохранились

– 197 –

до сих пор в тамошней семье и общине, особливо в Малороссии, чему, конечно, значительно способствовала и последующая история.

Совсем другое находим в Великороссии. С тех пор, что здесь образовалась особая ветвь русского племени, ни которого из названных выше общественных элементов мы в ней не встречаем. В основе всех частных и общественных отношений лежит один прототип, из которого все выводится, – именно двор или дом, с домоначальником во главе, с подчиненными его полной власти чадами и домочадцами. Это, если можно так выразиться, древнейшая, первобытная и простейшая ячейка оседлого общежития. Этот начальный общественный тип играет большую или меньшую роль во всех мало развитых обществах; но нигде он не получил такого преобладающего значения, нигде не удержался в такой степени на первом плане во всех социальных, частных и публичных отношениях, как у великорусов. В крестьянском быту он, еще в очень недавнее время, живо сохранялся

в первоначальном виде, когда общество и государство уже приняли другие формы. Не говоря о внутреннем устройстве крестьянской семьи и семейных отношений, личных и по имуществу, припомним значение очага в народных поверьях; бесчисленное множество примет, относящихся к избе, печи, угольям; особенные, полуязыческие обряды, сопровождающие основание новой усадьбы и переход в новую избу, причем горящие уголья играют такую важную роль.

Таким образом, зачатки великорусского элемента, лежащего в основании Московского государства и Российской империи, были, по-видимому, вот какие: в XI или XII веке переселенцы двинулись разными путями из западной России на восток, в финские земли. Они не принесли с собой никакой культуры: ни умственной, ни гражданской. В новой родине, печальной и суровой, они не нашли ни образованных народов, ни даже остатков прежде бывшей культуры. Туземцы, финские племена, разбросанные на огромном пространстве нынешней Великороссии, подпали постепенно под власть и влияние переселенцев и, может быть, смешались с ними, всего вероятнее – стали постепенно обрусевать, и таким образом внесли новую кровь, новые элементы в русское начало, принесенное колонистами с запада. Под влиянием новой

– 198 –

почвы, новой обстановки и притока финской крови сложилась постепенно новая ветвь русского племени. По мере того как она вырабатывалась и получала свою особую физиономию, подготовлялись элементы для новой государственной формации, резко отличавшейся, подобно своей основе, от всего, виданного дотоле. На характере великорусов отразилась история их происхождения и постепенного образования; а характер этот, в свою очередь, определил особенности гражданского и государственного строя, который образовался у этого удивительного народа. Переселенец стал на новой почве колонизатором и распространился постепенно по громадной территории. В вековых трудах расселения образовалась та подвижность, то умение найтись в трудных обстоятельствах, тот практический такт в сношениях с инородцами, которыми так отличается великороссиянин перед своими соплеменниками. Преобладанием, в новом отечестве, над всеми другими племенами объясняется то чувство превосходства над инородцами, которое великорусы глубоко носят в своей душе, хотя и не всегда высказывают. Не принеся с собою из родины никакой культуры и не найдя ее на новой почве, переселенец посреди тяжких условий, в которые был поставлен в негостеприимном климате и в дикой стране, долгое время осужден был оставаться при грубых умственных и социальных зачатках первобытного человека. Трудная, упорная борьба с природой-мачехой, поглощая все силы, не оставляла ему досуга для высших помыслов, развила, рядом с суеверным фатализмом, признаком гнетущей внешней обстановки, какой-то грубый реализм и надолго помешала образоваться в нем той идеальной сдержке, которая дает человеку точку опоры против окружающего, против изменчивости обстоятельств и случайностей, как бы влагает в него центр тяжести, поддерживающий равновесие посреди бурь житейского моря и в то же время служащий складалищем опытности и воспоминаний, накопленного жизнью умственного запаса. Не без основания ставят великорусам в упрек большую плутоватость, отсутствие предусмотрительности, жизнь со дня на день; замечают с изумлением, что у этого народа как будто нет исторической

памяти, что величайшие события и эпохи его истории как будто пронесли над его головой незаметно, не оставя почти никаких следов в народных воспоминаниях. Как ни различны между собою

– 199 –

все эти черты, но они сводятся к тому же первобытному, непосредственному реализму, которого источник скрывается не в прирожденных свойствах великорусов, а в полном отсутствии культуры русских масс, выселившихся первоначально из западной России, в совершенном отсутствии культуры на почве, на которую они пришли, и в тех внешних условиях, в которые они были здесь поставлены, в том труде, на который были здесь обречены в течение столетий.

Для полноты этой характеристики великорусского элемента необходимо коснуться еще двух его особенностей, которые объясняются сказанным выше и без него остаются совершенно непонятными.

Западнорусские переселенцы были уже христианами, когда перешли в новую родину, и перенесли на финскую почву церковь восточного исповедания, со всеми ее учреждениями. Несмотря на то, что языческое миросозерцание упорно держалось между колонистами, даже до позднейшего времени, название христианина стало отличительным их признаком посреди язычников-туземцев и надолго заменило сознание народности. Русский и православный, в народном понятии, одно и то же; православный, хотя бы и не русский по происхождению, все-таки считается русским; природный русский, но не православной веры, не признается за русского. И так в Великороссии христианская вера восточного исповедания стала народным знаменем, заступала место народности. Этим объясняется огромное политическое значение православия в Великороссии; в западной России оно получило его впоследствии, под влиянием борьбы с римским католичеством. Хотя, таким образом, оно играет великую роль в целом русском племени, однако характер его на западе и востоке был весьма различен, на что, как нам кажется, не обращено еще должного внимания. В XVII веке малороссияне укоряли москалей за чрезмерный формализм в делах веры, за то, что внешняя сторона поставлена у них на первом плане и производит непримиримые вражды и пагубные раздоры между братьями и христианами. Не раз слышались после того с разных сторон подобные же укоры, но уже православной вере, свидетельствующие о полном непонимании дела. Обобщая упреки и относя их к исповеданию, теряют из виду народ. Христианство принимается внешним или внутренним образом, смотря

– 200 –

по степени культуры; в ней, а не в православии, должно искать причины различного характера, который оно долго имело в восточной и западной России. Пока языческое мирозерцание не было вполне отжито великороссиянами, до тех пор они не были в состоянии усвоивать духовное содержание христианства и останавливались преимущественно на его внешней, обрядовой стороне, приравнивая христианское учение и истины к своим полуязыческим представлениям и верованиям. Задержанные в своем развитии на новой почве, западнорусские поселенцы, естественно, гораздо позднее стали доступны внутренней, духовной стороне православия, чем их братья в первоначальной родине. Флетчер, бывший в Москве в конце XVI века, прямо называет нас язычниками. Весьма знаменательно, что туземные ереси и расколы появляются в Великороссии не прежде XVII века и еще в XVIII веке вращаются около одних внешних, обрядовых и богослужебных предметов, глубоко погружены в церковный формализм. Предшествовавшие им ереси и секты частью занесены к нам, по-видимому, из Византии, частью, кажется, с запада или, что может быть вероятнее, образовались в областях (преимущественно в Пскове), принадлежащих по своему происхождению и степени культуры к западнорусским группам. В западной России развитие продолжалось на том же корню, на котором началось, и потому культура была сравнительно выше; вот почему и православие воспринималось здесь более и более духовно, что и дало западной России силу бороться с римским католичеством духовным оружием. В Великороссии православие, соответственно ее степени культуры, получило характер государственного и политического учреждения, под покровом которого окрепло и выработалось национальное сознание. Не понимая этого, нельзя понять русской истории. А между тем, еще не так давно люди высокого образования, извращая вопрос, думали, что православие, отделив нас от остального образованного европейского мира, задержало наше развитие и было главной, если не единственной причиной нашей видимой отсталости в культуре от прочих народов. На самом же деле оказывается, что мы сильно отстали в культуре от Европы потому, что жизнь Великороссии началась с азбуки, с самой первой ступени оседлого быта, едва ли ранее XII века, при самых неблагоприятных условиях, в каких

– 201 –

когда-либо находился другой народ. Не православие заражено формализмом, а мы восприняли его преимущественно с формальной, внешней, обрядовой стороны, потому что по степени развития были неспособны подняться до внутреннего, духовного содержания христианства. И при всем том православие оказало России неисчислимые услуги. Благодаря ему мы сохранили сознание национального единства и не сделались добычей других христианских народов, опередивших нас в образованности. Православие дало возможность в тиши и уединении сложиться и окрепнуть славянскому зародышу, заброшенному в дебри и пустыни, на край света; оно хранило его и оберегало до тех пор, пока из этого слабого зачатка образовалось могучее политическое тело, которому не страшны стали внешние борьбы и бури. Будь мы с самого начала колонизации римскими католиками или сделайся ими вскоре после водворения на новой почве, мы были бы роковым образом втянуты в круг западноевропейского развития, которое, по крайней мере до сих пор, действовало разлагающим образом на все славянские племена, которых коснулось. Последнего термина этой посылки мы не знаем: он еще впереди. Не может быть никакого сомнения в том, что славянские племена не могут развиваться, не

усвоивши себе плодов высшей, европейской культуры; но вопрос вовсе не в этом, а в том, когда, на какой ступени развития они могут принимать в себя европейский элемент, не теряя своей политической и народной самостоятельности; на это история отвечает очень категорически примером России и прочих славянских государств и народов.

Другое характеристическое явление русской жизни, получившее свой особый оттенок в Великороссии, есть склонность к молодечеству, к разгулу, к безграничной свободе – удаль, не знающая ни цели, ни предела. Профессор Соловьев очень метко и верно указал на огромную роль, которую эта черта играет в нашей истории. Она создала казачество; она наводнила страну разбойничьими шайками; она производила страшные взрывы, потрясавшие государство, и выступает во всех наших внутренних смутах. Черту эту нельзя объяснить ни административным гнетом, ни склонностью к переходам и бродячей жизни, ни частыми разореньями, отучавшими народ от оседлости, ни крепостным правом; все эти обстоятельства,

– 202 –

конечно, вызывали наружу указанную черту характера, может быть, усиливали ее, но нам не объясняют, почему она в нас есть, почему принимает у нас такие невиданные и небывалые формы. Один из ее элементов, бесспорно, – большие силы, ищущие простора и деятельности и не находившие их в ежедневной житейской обстановке. Но такие же громадные силы чувствуются и в североамериканце. Отчего же они проявляются у него иначе – в гражданской деятельности, труде, промышленной предприимчивости? Поэтому-то мы и думаем, что должен быть еще другой элемент, которым эта черта нашего характера вполне объясняется. Разгадки опять-таки должно искать в отсутствии культуры, к чему мы беспрестанно должны возвращаться, объясняя многие особенности нашей истории и быта. Молодечество, безграничная удаль, разгул, стремление к безграничной свободе, которая манит человека из гражданской обстановки в поля и леса, на приволье, есть лишь обратная сторона той внешней обрядности, того предохранительного и спасительного ритуала, которым человек без культуры обставляет каждый свой шаг, из боязни, чтоб ему не приключилось какой беды. Им не руководит внутреннее сознание, полагающее границы деятельности и указывающее способы, как действовать; его извне как бы опутывает обряд и обычай, которому он подчиняется слепо, по привычке или из боязни его нарушить. Натура не особенно сильная сдерживается этой внешней уздой; но сила с ней не уживается; она разрывает гнетущие ее внешние оковы и, не умеряемая внутренним содержанием, истощается в безграничном и беспредметном разгуле. Глубоко проходит эта черта чрез всю русскую жизнь; беспрестанно отзывается она в ней. Послушайте рассказы о том, как кутит наемный рекрут-охотник до окончательного поступления на службу! Кто не знает и не видал своими глазами, как человек, долго живший порядочно и честно, вдруг, ни с того ни с сего, сбивается с толку и делается никуда не годным. Сколько у нас людей, проведя жизнь, чуть-чуть не до старости, за каким-нибудь делом, вдруг без всякой причины бросают его и начинают фантазировать в ущерб своей деятельности и материальному положению. Сколько можно привести других подобных примеров из самых различных слоев нашего общества и самых разнородных положений и профессий! Струна казачества в нас еще не совсем



заглохла и все еще звучит от времени до времени. В образованных слоях нашего общества внешний формализм, с одной стороны, удаль и разгул – с другой, переносятся в сферу мысли и духовной деятельности. Нравственная пустота, сила, без внутреннего центра тяжести – вот элементы нашего умственного казачества. Так долго переживаются первобытные черты, так трудно пополняется пробел духовной, внутренней стороны, завещанный отдаленными веками.

## II

Указывают, как на особенность и странность русской истории, что в XI и даже в XII веке мы стояли по образованию выше современных европейских народов; но с тех пор они развивались далее, а у нас культура почему-то начала падать. Причины этого явления приписывают нашествию монголов и татарскому игу. Но значение ига сильно преувеличивается. Другие иронически замечают, что не будь у нас татарского владычества, не было бы и Московского государства. Которое же из этих двух мнений справедливо? Было ли татарское иго для нас злом или благом? Нет сомнения, что татарское владычество было горестным, тяжелым и несчастным эпизодом русской истории; оно нас разорило, унизило, сдавило, замедлило, пожалуй, наше развитие, легло тяжким бременем на наши плечи; но напрасно станем мы отыскивать следов органического влияния диких кочевников на нашу жизнь. Несколько слов, позаимствованных русскими у татар, так же мало доказывают такое влияние, как турецкие слова, вошедшие в сербское наречие, – влияние на сербов турецкого элемента. Учреждений у татар мы никаких не заимствовали, да и трудно было их заимствовать у победителей и господ, которые правили нами издавна. Словом, нам не известно ни одного явления русской жизни, которое бы мы вынуждены были приписать органическому влиянию на нее татарщины и не объяснялось бы собственным, внутренним развитием западнорусских поселенцев на новой почве. Что Московское государство сложилось благодаря татарам – об этом смешно и говорить. Стремление к объединению Великой России появилось очень скоро после начала колонизации и беспрестанно проявлялось под самыми различными формами;

московские князья только воспользовались татарским игом для достижения той же цели, которую имели и другие князья, их предки и современники; а между умением воспользоваться обстоятельствами, умением при их помощи провести план и фактами или условиями, определяющими развитие исторической жизни, есть огромная разница, которой можно пренебречь остроумия ради, но которую нельзя оставить без внимания при серьезном разрешении исторического вопроса.

Причина кажущегося попятного движения нашей культуры лежит не в татарском иге, а гораздо глубже. Чтоб выяснить ее, необходимо хорошенько условиться в том, о чем мы хотим говорить. В Малороссии, в северо-западной России, культура несколько не понизилась. В первой вечевое и дружинное начбла продолжали развиваться по-прежнему; создалась сильная аристократия, с которой боролись князья. Южнорусские летописи исполнены высокого драматического интереса, указывающего на деятельную, умственную и нравственную жизнь тамошнего населения. Такою же полною жизнью продолжала жить и северо-западная Россия, к которой принадлежала не одна Белоруссия, т.е. кривичи, но и славяне – новгородцы и псковитяне, признаваемые и Шафариком за особую группу. Здесь развилась преимущественно муниципальная жизнь, промышленная и торговая деятельность, и муниципии этого края продолжали сильно и быстро развиваться; никакого упадка культуры не заметно; напротив, видно постепенное ее усиление. Быстрое обрусение литовцев, покоривших западную Россию, тоже говорит в пользу тамошней культуры. Наконец, живой интерес к вопросам веры и церкви, религиозные борьбы, в особенности с римским католичеством, вызвавшие большое умственное движение, создавшие школы и целую духовную литературу, не доказывают упадка культуры, а, напротив, подтверждают, что она пустила здесь корни.

Итак, говорить об упадке образованности можно только, имея в виду одну Великороссию. Но будет ли точно это выражение? Основываясь на том, что сказано выше, мы думаем, что нет; что культуры здесь вовсе не было, и потому упасть она не могла. Нас вводит в заблуждение то простое обстоятельство, что в самом начале колонизации Великороссии с запада переселенцы принесли с собою живые воспоминания о родине; в княжеском роде

и высших слоях населения сначала поддерживались с нею связи; очень возможно, что новые выселения освежали эти воспоминания, точно так же, как и частые перемещения князей и дружинников из западной России в восточную и обратно. Таким образом, сначала происходил естественный обмен между западной и восточной Россией, что и поддерживало некоторое время западнорусский строй жизни на новой почве. Оттого-то мы сперва не видим резкого перехода от западной России к восточной; в последней сначала как будто происходит то же самое, что в первой; видны те же интересы, те же учреждения, те же дружины и города с их вечами, та же оживленная жизнь. Но когда связи между обеими половинами русского мира понемногу ослабевают и прекращаются, жизнь Великороссии, не обновляемая более новыми переселенцами и выходцами из западной России, перестает искусственно поддерживаться на одинаковой высоте с последней и приходит, мало-помалу, в естественный уровень с теми элементами, которые сложились на месте. С тем вместе, оживленное движение, характеристические образы,

поэтические черты, свидетельствующие о том, что довольно развитая индивидуальность лежит в основе общности, мало-помалу бледнеют и замирают. летописи становятся сухи и прозрачны, превращаются в календарь событий; личность деятелей стирается за голыми фактами, точно будто замедлился пульс общественной жизни. Другого, конечно, и не могло быть, когда первоначальные элементы жизни великороссии, которые мы характеризовали выше, мало-помалу начали вступать в свои права. Грубейший, первобытный реализм слагающегося народа при полном отсутствии благоприятствующих культурных условий постепенно стал выдвигаться из-под временного наплыва западнорусской жизни. Следовательно, мнимый упадок культуры состоял только в том, что действительная основа жизни великороссии стала проступать наружу из-под обманчивого, наносного, чуждого покрывала.

В высокой степени любопытно и поучительно проследить в истории великороссии постепенное развитие тех зачатков, на которые мы указали выше. Один и тот же материал – русское племя – поставленный только в разные условия, дает на западе и востоке России совершенно различные результаты, вырабатывается в различные

– 206 –

формы, под которыми лишь с трудом можно разглядеть общее всем им основание. Интерес такого исследования перестает быть местным, русским, и становится всемирно-историческим, когда вспомним, что внутренним ходом великорусской жизни поставлен и разрешен вопрос государственного существования, а следовательно, политической независимости и самобытности славянского элемента. История показывает, что для этого недостаточно было одного ума, личной доблести, талантов, в которых никогда не было недостатка у славян: нужен был целый строй жизни, который выдержал бы в суровой дисциплине мягкий, расплывчатый, впечатлительный, женственный славянский элемент до эпохи его исторической возмужалости. В великороссии он отрешился от остального образованного мира и влияний высшей культуры и должен был сам в себе искать условий государственной жизни, соответствовавших его историческому возрасту. Он и нашел их. Из своей уединенной, своеобразной и тяжелой жизни он вынес то, чего прочие славянские народы напрасно искали другими путями.

Постараемся теперь показать в общих чертах, какое влияние имел обрисованный выше характер зачатков великорусской жизни на все наше последующее развитие. Культурные условия этих зачатков отзываются как основной тон в целом ходе нашего образования и гражданского быта даже до настоящего времени.

Мы сказали выше, что православие заменило нам вначале сознание народности. Отсюда тогдашний государственный и политический характер нашей церкви. Сперва одна она и представляла наше народное единство; церковное единение задолго предшествовало государственному и в течение столетий подготавливало его. Переезды митрополитов из Киева во Владимир, а отсюда в Москву были столько же государственными, сколько церковными событиями, даже более государственными, чем церковными. Алексей митрополит навлекает на себя сетования патриарха за то, что держит сторону московского

князя в распрях его с удельными. Церковь стоит во главе народных войн против татар, благословляет на подвиг Дмитрия Донского, склоняет колеблющегося Ивана III. Во всех важнейших политических событиях, решавших судьбу нарождающегося государства, церковь играет первую роль; она его вскормила, выходила и передала на руки светской

– 207 –

государственной власти, когда процесс образования политического тела уже совершился. Не понимая этого высокого призвания в судьбах Великороссии – призвания, определившегося составными стихиями последней, – нельзя понять характера нашей церкви в древнейшую эпоху великорусской истории.

Так же значительна была и образовательная роль церкви. Если мы ее недостаточно ценим, то единственно потому, что не берем в расчет среды, на которую ей приходилось действовать. Изукрашая старинный наш быт вымыслами или просто не думая об нем вовсе, мы бы хотели видеть в тогдашней деятельности нашей церкви большее развитие нравственных, духовных элементов, большее обращение к уму и сердцу людей. Но рассмотрите внимательно памятники: они разрешают все недоумения. Церкви приходилось бороться не с злой волей или развращенным умом, а с грубейшими языческими нравами, с дикими предрассудками, с первобытным реализмом, при котором люди приближались к зверям и бессловесным. Борьба эта продолжается чрез всю древнюю историю, местами и до сих пор. Встречаются и теперь кое-где в захолустьях примеры невообразимой дикости нравов. Имея дело с такой средой, церковь должна была вооружиться не проповедью, не поучением, а внешней дисциплиной, чтоб сперва хоть наружно приблизить этих людей к образу и подобию Божию. Знакомый хоть сколько-нибудь с теперешними нравами и обычаями нашего народа не станет отрицать, что они еще очень грубы и суеверны. Что же было в древние времена и каково было ведаться с ними? Церковь и делала, что могла, прибегая к единственно возможным тогда и самым действительным средствам. Прибавим к этому, что личный состав ее обновлялся под конец большею частью из туземцев; следовательно, в нее по необходимости вторгались те же самые элементы, которые она призвана была воспитывать.

Вообще ход нашего образования – и духовного и светского – вследствие всей совокупности условий, при которых возникла жизнь Великороссии, был очень своеобразен. Развитие культуры было чисто внешнее; вместо самостоятельности видим пассивное восприятие чужого; меньшинство является проводником этого чужого в нашу жизнь, и потому весь культурный процесс идет сверху вниз, из вершин общества в народные массы.

– 208 –

Припомним, что переселенцы из западной России явились в Великороссию без всякой культуры и, следовательно, без зачатков духовного развития; что новая их родина была точно такая же и не внесла непосредственно в их жизнь никаких образовательных элементов; что затем и после, в продолжение всей нашей истории, односложность нашего быта никогда не нарушалась притоком в наш народный состав чужого племени или наплывом завоевателей; что, наконец, в течение столетий все силы Великороссии были обращены на грубый материальный труд заселения дикой страны между дикими племенами и при самых враждебных человеку природных условиях. Все эти обстоятельства вместе взятые на целые века сделали невозможным развитие великорусской ветви из самой себя. Ее не воспитывала среда, в которой она жила; нравственная и умственная сторона в ней дремала. Единственным путем культуры Великороссии – путем окольным и чрезвычайно длинным – было постепенное, так сказать, всасывание в себя образовательных элементов извне, из других стран, более образованных. Наша подражательность, обезьянчанье, наша падкость к новому и чужому, наша способность принимать всевозможные виды и образы ставятся нам в укор; но такая восприимчивость и впечатлительность, выработанные в нас, правда, до виртуозности, доказывают только отсутствие в нас всякого содержания и сильную потребность наполнить эту пустоту единственным способом, который оставался, – впитыванием, вдыханием в себя образовательных элементов извне. Эти внешние влияния чрезвычайно медленно оседали в народе и продолжали жадно восприниматься отовсюду до тех пор, пока почва не напиталась ими и не народилась для самостоятельного, нравственного и духовного развития.

Отсюда множество явлений в нашей жизни, на которые мы теперь горько жалуемся, потому что время их проходит. Внешний характер образования, раздвоенность общества, отчуждение высших слоев народа от низших и высокомерное отношение первых к последним, посягательство незаметного меньшинства на обычаи и нравы большинства народа – все это обуславливалось стремлением грубой среды к культуре. Нам не нравятся теперь формы, в которых оно выразилось; но они были такие,

– 209 –

а не другие, именно потому, что такова была среда. Иной ход образования, иные формы стремления к нему для нее были невозможны.

Отсюда же и другая особенность развития нашей культуры, на которой нельзя не остановиться, – так она поразительна. Попытки меньшинства водворить в большинстве внешние формы образованности, заимствованные от других народов, не имели и не могли иметь между собой никакой органической связи, потому что вытекали не из хода внутренней жизни, а определялись внешними материалами, которые случайно попадались под руки и, следовательно, тоже не могли иметь между собою никакой внутренней связи. Преобразования на греческий лад при Иване III, польские и литовские влияния в XVII веке, западноевропейские влияния в XVIII и в первой половине XIX века представляют этому обильные примеры. Нередко страшные силы поглощаются в таких попытках бесследно, целые направления вдруг возникают и вдруг же исчезают. Существование у

нас литературного памятника, книги, произведений искусства на русском языке и с кажущейся русской обстановкой не дает еще права заключать, что это продукт народной жизни, не доказывает, что мысль и направление, которые в них выражаются, нашли в стране сочувствие, привились, были распространены; такие памятники очень часто оказываются переделками или переводами с иностранных образцов, делом прихоти, вкуса, мысли небольших кружков, даже отдельных личностей; круг действия и влияния этих памятников и произведений ограничивается нередко небольшим числом любителей, в лучшем случае известным слоем общества, составляющим незаметное меньшинство. Потому-то, разрабатывая историю нашей культуры, мы ходим на почве весьма шаткой, не представляющей ничего органического. Между несомненным фактом и средой, в которой он оказывается, не существует необходимой, непосредственной связи и потому не может быть сделано безошибочной посылки от первого к последней. Изложите, например, весь ход русской литературы от начала до конца; разберите и объясните подробно все ее памятники – и вы все-таки не будете иметь истории развития русской мысли в литературе; отбросьте наплывной материал, и в результате останется, кроме природного таланта,

– 210 –

отрицательное отношение к среде и развитие языка, выработка самостоятельной формы для выражения будущей самостоятельной мысли. То же и во всем остальном.

Обратимся теперь к гражданскому и государственному быту Великороссии: он точно так же представляет своеобразное развитие зачатков, принесенных сюда переселенцами с запада, поставленных в условия, о которых мы уже говорили выше.

Первобытный, начальный тип оседлого общежития – дом или двор – лежит в основе великорусской общественности до самого Петра Великого. Где было завоевание или хоть добровольное призвание чужеземцев, там в жизнь вносится дружинный элемент, из которого впоследствии развивается аристократия или олигархия. Где ранние поселения становятся центрами торговли и промышленности, там развивается со временем муниципальная жизнь, и поселения обращаются в государства, наподобие древних и средневековых городских республик, с городским патрициатом и чернью. Но где ни того, ни другого нет, где народ слагается из самых первобытных элементов, не имеет никакой культуры и не находит в стране высшей образованности, которая могла бы иметь на него непосредственное, ежедневное влияние, там формы общежития могут быть только развитием дома или двора, этой первичной социальной ячейки, общей всем оседлым народам в мире. Если никакие внешние обстоятельства не помешают ее естественному развитию, например, если народ не обратится в военную дружину и не получит вследствие того военного характера и устройства, то тип дома или двора мало-помалу непременно разрастется и определит характер всей гражданской и государственной жизни.

Так и случилось в Великороссии. Едва ли есть другая страна в мире, которая представляла бы такое полное, беспримесное и последовательное развитие типа двора или дома от первых его зачатков до высшей ступени; едва ли где этот тип так выносился и вызрел, как в Великороссии. У малороссиян в составных элементах общества находим присутствие

дружинного начала; у северо-западных отраслей русского народа муниципальный элемент рано начал играть важную роль. Ничего подобного нет в Великороссии, с тех пор как здесь сложилась особая ветвь русского племени.

– 211 –

Эта характеристическая особенность великорусского быта имеет неизмеримую важность. Ею объясняется беспримерная его своеобразность. Благодаря ей древний быт Великороссии представляет небывалую социальную формацию, которая не может быть обойдена во всемирной истории, заносащей на свои страницы всевозможные типы человеческих обществ; что же касается русской истории, то в ней шагу нельзя ступить, не возвращаясь беспрестанно к особенностям социального развития Великороссии; здесь ключ к правильному пониманию глубоких общественных различий между древней западной и восточной Русью и различных политических судеб обеих половин одного народа в течение столетий; здесь, наконец, разгадка множества явлений нашего быта, нашего прошедшего и настоящего, всего нашего народного характера.

Дом или двор, как мы уже сказали выше, представляет человеческое общество, поселенное на известном месте, состоящее из членов семьи и домочадцев и подчиненное власти одного господина, домонаρχа. В этой социальной единице заключаются, как в зародыше, зачатки всех последующих общественных отношений: и семья, и рабство, и гражданское общество, и государство.

Развитие древнего великорусского общества и государства действительно представляет выделение и самостоятельное развитие этих зачатков. Сначала дом или двор оставался, как еще недавно у наших крестьян, постоянной единицей, к которой все приурочивалось. Отделившийся член семьи переставал принадлежать к этой единице и не имел в ней никакой доли; только наличные члены дома принадлежали к нему и участвовали в нем. На этой ступени развития связи личные и определяемые местом жительства не различаются. Так у наших крестьян: сын, отделившийся от семьи, переселившийся в другое место или отданный в солдаты, и дочь, выданная замуж, – отрезанные ломти, не имеющие части в семейном имуществе, которое скорей принадлежит дому, двору, чем главе семейства. Развитие этой первичной формы общежития выражается сначала в том, что личные связи перестают совпадать с сожительством в одном дворе или доме и получают самостоятельное значение. С тем вместе выдвигается на первый план союз семьи и родства, независимо от места поселения, причем общее достояние двора или

– 212 –

дома обращается мало-помалу в личное имущество главы семейства или родоначальника и после его смерти делится между членами того семейства или рода. Вслед за тем и союз свойства получает значение и становится основанием прочных личных связей; дочь, выданная замуж, уже перестает быть оторванным и чуждым членом семьи: укрепление личных связей, основанных на родстве, делает безразличным, где она живет – между своими или чужими. По личным связям и чужие делаются своими. Рабы обращаются в имущество, предмет гражданских сделок.

На этих-то простейших основаниях построена общественность древней Великороссии. И частный, и государственный быт ими проникнуты. Политическая организация удельных княжеств – если только к ним идет это выражение – приводится к тем же основаниям по мере того, как забываются западнорусские формы, занесенные во время колонизации. Княжеская дружина преобразуется в княжеский двор, который состоит из князя, членов его семьи и дворян, слуг княжих. Княжество принадлежит князю, есть его наследственный удел; князь – дедич и отчич княжения. Тип этот лежит и в основании Московского государства: он только раздвинулся, принял громадные размеры. Точно так же, как прежде князь, так теперь московский государь есть отчич и дедич Московского государства. Царский дом, или двор, состоит из членов царского семейства. Слуги царя, или холопы, окружают его, нисходя по степеням от высших, приближенных, до низших. Прибавляется только к прежним составным элементам двора, или дома, – народ, «сироты царские», т.е. состоящие под защитой, охраной и попечением государя.

Собственно говоря, переход от удельной системы к государственному единству был возвращением в государственной сфере к первоначальному типу двора или дома. Во время уделов княжества обратились в имущество князей, которое они делили между членами своего семейства, покупали, продавали. С Дмитрия Донского начинает выработываться ясное представление о государственном единстве и о единстве государственной власти, вследствие чего часть, достававшаяся великому князю, становится все больше, а части прочих князей все меньше. С Ивана III все владения переходят в руки одного государя, а остальным князьям достаются ничтожные уделы. Итак, можно

– 213 –

сказать, что с этого времени в государственной жизни Великороссии начальный тип дома или двора восстанавливается во всей своей первоначальной чистоте и остается господствующим до Петра Великого. Если это не вдруг бросается в глаза, то причины следует искать в том, что внешние наслоения, разные, заимствованные извне, формы заслоняют от нас действительную сущность дела. Западнорусское представление о великом князе усвоено и Великороссиею; оно занесено сюда переселенцами. Но как же различно оно здесь и там! Западнорусский великий князь есть старший из князей, глава княжеского рода; в Великороссии он перерождается в территориального владельца. Великое княжение из власти становится областью. При помощи великого княжения старший, великий князь, делается материально сильнее прочих князей, и это мало-помалу ведет к объединению всей Великороссии под властью великокняжеского двора, или дома. Иван III усваивает туземному, великорусскому типу внешние формы византийской



царской власти. Таким образом, западнорусская форма заменилась иною, греческой; но самый тип власти в сущности остался тот же самый, каким был и вытекал из самых основ великорусской жизни. Тот же самый тип лежит и в основании крепостного права, которое было лишь одним из его выражений. В XIX веке крепостное право под влиянием европейских экономических воззрений и заметно усилившегося промышленного развития начало местами вырождаться в отгалкивающую, возмутительную эксплуатацию людей из барыша; юридическое право на человека стало обращать его в капитал, из которого можно и должно прежде всего извлекать наибольший процент. Крепостное право начало было, таким образом, обращаться в рабство, что и ускорило его падение. Но в древней России оно не имело этого характера. Оно было только властью, иногда жестокой и суровой, вследствие грубости тогдашних нравов, но не правом собственности на человека. Крепостное право не исключало попечительности о людях, справедливости в обращении с ними, правильного, не слишком тяжелого определения их обязанностей и повинностей. Так называемые патриархальные отношения между владельцами и их крепостными вытекали из того, что основанием крепостного права служил начальный тип великорусского общественного быта – дом, или двор. Такой

– 214 –

характер сохранило у нас крепостное право, у большинства владельцев даже до позднейшего времени, не успев получить ни строго юридического, ни строго экономического характера, как, например, в Польше и западных губерниях.

Говоря о крепостном праве, мы теперь представляем себе только известные отношения частного права, упраздненные на наших глазах, и едва подозреваем, что они были запоздалым остатком целого общественного строя, который в старину господствовал исключительно в нашем государственном и частном быту. Княжеские слуги имели сначала вольный переход от князя к князю; когда утвердилось московское единодержавие, такие переходы запрещались и наказывались как преступление. Точно так же и крестьяне сначала вольно переходили от владельца к владельцу, а потом такие выходы прекращены. В XVII веке строго разграничены между собою разные разряды, «чины», отправлявшие царскую службу и тягло, с запрещением перехода из одного разряда в другой под страхом наказания. Самые по природе своей свободные промыслы, как, напр<имер>, торговля, подведены под то же самое начало; московские купцы обращены на царскую службу и образовали особый служебный разряд, к которому приписывались принудительно торговцы и посадские других городов, смотря по потребностям царской службы, и из которого не было добровольного выхода в другие разряды. Мало-помалу это начало распространено на все виды царской службы: пушкари и печатники, мастера и рабочие разного рода приписаны наследственно каждый к своему ведомству без права перехода к другому занятию. Вместе с тем каждый приписанный к княжеству, частному владению, служебному разряду или ведомству поступал под полную их власть, суд и управление. Следы этого порядка дел удержались до позднейшего времени и окончательно отменены лишь в нынешнее царствование; сохранились они теперь, и то отчасти только, в сословии белого духовенства. Такое стремление каждого землевладения, каждого ведомства, каждого особого управления замкнуться в особую единицу, составить особое целое, с полною властью над принадлежащими к нему лицами, характеризует великорусский быт в

течение всего московского периода и получило полное развитие в малейших подробностях гражданской и

– 215 –

государственной жизни в XVII веке. Следовательно, крепостное начало было в то время, можно сказать, основанием всей нашей общественности, а это начало прямо вытекало из первообраза великорусского быта – двора, или дома. Потому-то оно и было в нравах. Чадам и домочадцам, состоящим под властью господина, по тогдашней терминологии «государя», казалось очень естественным состоять под его «наказанием» (т.е. и наставлением, и исправительным взысканием). Эпитет «грозный» выражал хвалу, по крайней мере, одобрение, а никак не порицание. Не наставлять, не руководить подвластных, не взыскивать с них, когда они того заслуживали, считалось, в глазах самих подвластных, предосудительным признаком равнодушия, невнимания. Рассказ Олеария о русской жене иностранца, которая плакала о том, что муж никогда не бил ее, – есть карикатура, но не злостная выдумка; в основании этого рассказа лежит правда, которую ни Олеарий, ни передававший этот случай не поняли, потому что она лежала совершенно вне круга их понятий. Еще на нашей памяти простолоудин после наказания благодарил за то, что его учили уму-разуму. В старые времена это было у нас повсеместно делом самым обыкновенным. Факты такого рода, а их можно привести множество, чрезвычайно характерны. Они доказывают, что древняя великорусская общественность, построенная снизу доверху на начале двора, или дома, и проникнутая вытекавшим из него крепостным правом, была в народных нравах и убеждениях, поддерживалась не насилием, а сознанием. Теперь нам становится трудно вдуматься в этот строй жизни, потому что мы из него выросли; но в народных массах он еще жив – во взгляде на вещи, в привычках, пословицах и преданиях, и пройдет еще много, много времени, пока он совсем забудется. Подчиненный власти считал себя в древней Великороссии не рабом, не предметом промышленной эксплуатации, а несовершеннолетним, неразумным, мало- сведущим, темным человеком, которого надо учить, наставлять, вразумлять и направлять. Оттого и наказание считалось мерою исправления, а не делом каприза, своеволия или жестокости. Такой взгляд образовался, как сказано, по той причине, что крепостное право возникло из домашней власти и развилось по ее образцу; потому-то именно оно и не было ни строго юридическим, ни экономическим явлением. Одно глубокое непонимание дела

– 216 –

может переносить на этот склад жизни юридические понятия и измерять его последними. Постепенная отмена крепостных отношений, составляющая существенный смысл нашего внутреннего развития в XVIII и XIX веке и завершившаяся в 1861 году, действительно, а не в переносном смысле обозначает ступени нашего гражданского роста и перехода от

несовершеннолетия к возмужалости. Многие удивляются, почему великорусский крестьянин, несмотря на крепостную зависимость в течение без малого трех веков, нисколько не походил на раба. Особенно это поражало иностранцев. Но кто вник в характер и внутренний смысл крепостных отношений, тот найдет это явление очень понятным и естественным.

При исследовании своеобразного быта старинном Великороссии сам собою представляется следующий вопрос: как согласить с этим строем жизни, основанным на крепостном праве, общинный быт массы великорусского населения, его несомненную способность и привычку к общинной и артельной жизни? Вопрос этот один из труднейших в особенности потому, что, кажется, никогда еще не был правильно поставлен. У всех славянских племен есть природное расположение к общинной жизни; это факт, не подлежащий сомнению. Но как оформилась в истории эта общая всем им черта – это другой вопрос, которого никак не следует смешивать с первым. Между тем, говоря об общинном быте русского народа, мы обыкновенно не различаем природной способности, предрасположения, от организации, от определенной и установившейся формы отношений и потому, при обсуждении этого вопроса, никак не можем прийти к точным, положительным результатам. Живя вместе, имея общие дела, общие занятия, общие интересы, люди естественно образуют группу, целое общество, особенно при живости характера, общительности и большом добродушии которым мы отличаемся. Но всего этого еще мало, чтоб признать существование у нас общинного быта. Такой быт предполагает общественное устройство и известный способ ведения общественных дел, перешедший в обычаи и нравы. Есть ли у нас общинный быт в этом смысле или нет, сказать очень трудно. Рядом с фактами, несомненно доказывающими его существование в одних местностях, приводятся данные из других местностей, доказывающие совершенно противное; нередко такие противоречащие

– 217 –

факты встречаются в одной и той же местности и далее не на большом расстоянии друг от друга; еще чаще можно заметить, что в одном и том же обществе есть очень развитые и твердо установившиеся общинные учреждения по одной какой-нибудь стороне общественной жизни и полное их отсутствие – по другой. Последнее, можно сказать, факт почти повсеместный в Великороссии. То же противоречие видим и в пословицах, выражающих народный взгляд на общину. Есть пословица: «мир – великое дело»; но есть и другая: «мир силен, как волна, и глуп, как свинья». Рядом с пословицей: «дружка об дружке, Бог обо всех» – есть тоже пословица: «моя изба с краю, ничего не знаю». Всего подробнее и точнее развиты в целом народе обычаи, относящиеся к общественной раскладке всякого рода повинностей, податей, сборов, натурой и деньгами, а также к разделу полей и угодий; все другие общинные обычаи далеко не так повсеместны, как эти. Из всего этого можно, кажется, заключить, что природная наша способность к общинной жизни, которой никто не отрицает, находится еще в развитии и успела принять определенные обычные формы в тех только случаях, когда обстоятельства тому благоприятствовали; но едва ли можно положительно утверждать, что общинный быт у нас уже существует, что он уже теперь представляет нечто развитое, прочно установившееся и выработанное во всех частях и повсеместно.

Правильному разрешению вопроса об общинном быте Великороссии мешает также, как нам кажется, еще и то, что мы в этом отношении недостаточно различаем разные эпохи русской истории, а это, в свою очередь, существенно вредит правильности наших исторических воззрений. О внутреннем быте великорусских крестьянских и городских обществ мы имеем до царствования Ивана Грозного одни только скудные известия, относящиеся почти исключительно лишь к податям, повинностям и раскладкам. Из этих сведений видно, что волости были обременены налогами, что суд принадлежал не им, а кормленщикам или частным владельцам. Необыкновенные усилия употреблял Иван III, чтоб обуздать произвол наместников и волостелей. Иван IV в изданном им Судебнике усилил меры, принятые в этом отношении Иваном III, и даже намеревался отменить вовсе местных царских правителей, а суд и полицию передать самим обществам. Во

– 218 –

всем этом трудно усмотреть следы сколько-нибудь установившейся общинной жизни в Великороссии; наоборот, из этих указаний, по-видимому, следует, что сельское и городское население жило вполне под частным правом или под произволом княжеских слуг и кормленщиков, тип власти которых был тот же, что и частных владельцев. Не надо также забывать, что в то время еще существовал свободный переход с одного места на другое, что на частных землях люди жили по договорам с владельцами и что такие договоры заключались последними не с целым обществом, а с отдельными лицами. При таком порядке дел едва ли могла существовать выработанная, самостоятельная жизнь городских и сельских общин. Таким образом, до XVII века мы не имеем никаких известий об общинной жизни великорусского народа, а те сведения, которые дошли до нас, делают существование прочного общинного быта невероятным и говорят скорей против него, чем в его пользу. В XVII веке крепостное право было в полном цвету; оно определило всю общественную и государственную жизнь во всех малейших подробностях; следовательно, в течение этого века, менее чем когда-либо прежде, мог существовать самостоятельный быт общин; но весьма вероятно, что в этом веке он начал мало-помалу слагаться, и именно под влиянием крепостного начала. Первый его узел завязан, как кажется, налогами, повинностями, вообще тяглом, которое сельчане и горожане должны были тянуть в пользу казны. Ей было удобнее, проще и вернее иметь дело не с отдельными лицами, а с целым городом, сотней, слободой, волостью, деревней – словом, с обществом; вследствие этого на общество легла обязанность раскладывать подати, повинности и службы. Это должно было съютить между собою лица, принадлежащие постоянно и наследственно к одному податному, тягловому обществу, должно было связать их одним общим делом и создать юридические общинные, податные единицы с выборными представителями во главе. В таком, кажется, виде стала мало-помалу осуществляться великая мысль Грозного, брошенная им едва ли не в разгаре кровавой борьбы с олигархами. За ту же мысль позднее снова ухватился Петр Великий, но так же безуспешно; общинный быт тогда не успел еще выработаться. Много делалось попыток в том же смысле и впоследствии, но и они остались без результата, пока,

наконец, уже в наше время со всех сельских обществ не было снято бремя административной опеки, чем и положено действительное основание к развитию сельского общинного быта. В крестьянстве, жившем на землях частных владельцев и впоследствии закрепощенном за ними, общинное начало появилось едва ли ранее XVIII века, и вот почему: когда существовала поместная система, огромное большинство помещиков и вотчинников (последних, кажется, было очень немного) жили в своих имениях и хозяйничали сами или через своих приказчиков и ключников; издельное хозяйство, по условиям тогдашнего быта, было повсеместно; казенных и общественных повинностей и тягостей помещичьи и вотчинные крестьяне не несли; в имениях, принадлежавших духовному ведомству, а также и тем из придворных чинов, которые, по обязанностям службы, не могли жить в своих поместьях и вотчинах, вероятно, тоже существовало изделье и приказчиье управление; следовательно, общинный быт мог начать выработываться в дворянских населенных имениях лишь в XVIII веке, когда крепостные, приписанные к этим имениям, были привлечены к участию в государственных и земских повинностях, податях и службах и когда изделье отчасти заменил оброк натурою или деньгами.

Все сказанное нами выше об общинах и общинном быте пока, разумеется, не более как одни догадки и предположения. Профессор Чичерин первый указал на податное, финансовое, тягловое происхождение наших городских и казенных сельских общин. Они и доселе глубоко запечатлены этим характером. Чту в их быте принадлежит гению славянского племени и чту истории и особенным обстоятельствам, посреди которых они развились, – покажет будущее; но в прошедшем великорусского племени они едва ли имели то значение, которое им некоторые приписывают; по крайней мере наш древний общинный быт ничем не заявил себя в ежедневной, будничной жизни, не оставил по себе следа, что было бы непременно, если б он развился и играл какую-нибудь роль в народной жизни. Другое видим мы в Малороссии и в северо-западной России, начиная с отдаленной эпохи; может быть, именно это обстоятельство и вводит нас в заблуждение относительно великорусской старины: не различая в прошедшем восточную Россию от западной, мы

беспреданно впадаем в ошибки. В Великороссии общинное начало, как мы сказали выше, есть, кажется, сравнительно явление новое; оно развивается и ему, видимо, предстоит будущность в наших судьбах. Городовые положения С.-Петербурга, Москвы и Одессы, земские и крестьянские сельские учреждения указывают на вероятный исход из старинной великорусской крепостной организации, упраздненной в течение XVIII и первой половины XIX века. Но пока это только зародыши будущего, а не зрелый плод прошедшего.

К тому же результату приводят и другие соображения. В общественном строе древнего великорусского общества не было места для общинного быта. Вся организация Великороссии в XVII веке представляется в таком виде: в частном быту – полновластный глава семейства и дома и господин над холопами; в общественном – значительная часть сельского населения подвластна частным владельцам и духовенству; весь остальной народ разделен на наследственные «чины», или разряды, приуроченные к известным надобностям царской службы, и находится в такой же подчиненности своему разряду, как помещицы и вотчинные крестьяне своему владельцу; в администрации – воеводы и разные царские слуги, с такою же точно властью над подчиненными им городами (ставшими с Алексея Михайловича исключительно царскими) и сельским населением; все государство представляет колоссальный дом, или двор, подвластный московскому царю, который заведывает им посредством своих слуг. Посреди такой организации куда вставить общинное устройство и быт? Подвластные одному владельцу или одному чиновнику, люди могли жить вместе, могли вместе, общими силами, тянуть тягло; но образовать органическое общежитие они не могли: весь склад этого общественного строя исключает общину. Те, которые предполагают и отыскивают в древней Великороссии установившийся и развитый общинный быт, недостаточно, как мы думаем, вникают в историческое призвание великорусского элемента среди других ветвей русского народа и славянского племени. Глубокий смысл московских государственных и общественных порядков тот, что в них осуществилось государство, в формах, вполне доступных и понятных великорусскому народу. Как был устроен частный быт, точно так же было устроено и все государственное здание. Домашняя

– 221 –

дисциплина послужила образцом для дисциплины общественной и государственной. В царской власти, сложившейся по типу власти домовладыки, русскому народу представилась в идеальном, преображенном виде та же самая власть, которую он коротко знал из ежедневного быта, с которой жил и умирал. Царь, по представлениям великорусского народа, есть воплощение государства. Чтоб проникнуть во внутренний смысл этого типа, неизвестного или забытого у других народов, нужно глубоко всмотреться в основание великорусского быта. Русский царь, по народным понятиям, не начальник войска, не избранник народа, не глава государства или представитель административной власти, даже не сентиментальный *Landesvater* или *bon pite du peuple*, хотя в двух последних типах и есть кое-что напоминающее великорусский идеал царя. Царь есть само государство – идеальное, благотворное, но вместе и грозное его выражение; он превыше всех, поставлен вне всяких сомнений и споров и потому неприкосновенен; потому же он и беспристрастен ко всем; все перед ним равны, хотя и неравны между собою. Царь должен быть безгрешен; если народу плохо, виноват не он, а его слуги; если царское веление тяжело для народа – значит царя ввели в заблуждение; сам собою он не может ничего захотеть дурного для народа. Девиз царя: «не боюсь смерти, боюсь греха», и горе народу, когда согрешит царь, потому что если «народ согрешит – царь замолит, а царь согрешит – народ не замолит». Совершенно понятно недоумение западных европейцев перед таким типом государственной власти, ключ к которому у них потерян. Не зная, что она собою выражает, они были бы готовы подвести ее под известный шаблон восточных деспотий, если б царская власть не была в России

деятельным органом развития и прогресса в европейском смысле. В чем же тайна этой всемогущей власти? Каким чудом она одна остается неподвижной и несокрушимой в русской жизни в течение столетий, несмотря на внутренние потрясения и внешние замешательства и когда все вокруг нее по ее же инициативе движется и изменяется? Это становится понятным только при глубоком изучении внутреннего смысла истории Великороссии. Установление ее государственного единства, а следовательно, и политического бытия, совпадает с судьбами царской власти: вместе они появились, окрепли, бедствовали

– 222 –

и спасались от бед. В самые трудные и тяжкие времена, когда приходилось чуть ли не сызнова начинать политическое существование, великорусский народ прежде всего принимался за восстановление царской власти, обеспечивал ее себе и делил с царем радости и горе. Народ и царская власть сжились у нас, как Англия с своим парламентом; оба учреждения глубоко национальны. В этой способности создать себе идеал государства в формах народных и потому доступных и понятных каждому, от мала до велика, в умение поддерживать и сохранять, как зеницу ока, царскую власть, в которой этот идеал выразился, несмотря ни на какие обстоятельства, через всю историю, и заключается значение Великороссии посреди других славянских племен и народов. У всех славян зачатки быта были одни и те же; но вследствие разных исторических условий в их жизнь вторглись чуждые элементы, прежде чем она успела сложиться в государственную форму, отвечавшую их народным понятиям и историческому возрасту; или же их естественный рост, а с ним и равновесие составных общественных стихий были нарушены. Оттого прочие славяне и потеряли свою политическую самостоятельность; но в массах народных сохранялся утраченный в действительной жизни идеал государства и государственной власти. Он тянул весь русский народ к Великороссии; он покорила Москве Новгород и Псков, присоединил к ней Малороссию, как в наше время влечет к нам народные массы в Западном краю и в самом Царстве Польском. Этого не понимают в Европе и отрицают самый факт, стараясь объяснить рядом случайностей и минутных обстоятельств органические явления русской жизни.

Народный характер царской власти и великое ее значение в судьбах русского племени проливают яркий свет на некоторые эпизоды великорусской истории и объясняют их иначе, чем мы привыкли смотреть на них до сих пор. Следившие за успехами критической разработки русской истории знают, как изменился в последнее время взгляд на Ивана Грозного. Увлечшись самыми честными побуждениями, Карамзин не понял и ошибочно истолковал борьбу Грозного с вельможеством. После Карамзина старались, в особенности профессор Соловьев, исправить эту ошибку и отчасти в том успели. Говорим отчасти, потому что выяснена пока только психологическая сторона действий и побуждений Грозного: объективная,

предметная сторона вопроса остается по-прежнему очень загадочной. Вдумываясь в ход великорусской истории, невольно останавливаешься перед рядом событий, начиная с Ивана Грозного и оканчивая царствованием Михаила Федоровича. Чувствуется, что за этот промежуток времени обычная ее нить как будто порвана и теряется; что-то необыкновенное начинается при Грозном; затем крайне натянутое положение после его смерти, при его сыне, собственно говоря, при Годунове; после того – страшные смуты, посреди которых чуть-чуть не погибает государство; его спасают сверхъестественные усилия всего народа; избрание Михаила Федоровича Романова полагает конец разгрому, но отголоски и последствия его отзываются долго после, почти через все царствование Михаила. С Алексея Михайловича все опять возвращается в обычную колею, и несмотря на то, что его время совсем не то, что прежде, до кровавых расправ Ивана, видишь, однако, что оно есть естественное его продолжение, что нормальный ход великорусской жизни восстановлен и обратился на старое свое русло. Таким образом, период времени от Ивана IV до царя Алексея Михайловича составляет одно целое, до сих пор мало разъясненное в главных своих основаниях и пружинах. Сравнительно очень богатая литература об этом периоде обыкновенно ограничивается промежутком времени между избранием Бориса Годунова и Михаила Федоровича. С точки зрения внешних событий это совершенно правильно. Но так ли по внутреннему смыслу событий? Мы не думаем. Буря подготовлялась издавека, и раскаты ее слышались долго после. Повторяем, нам этот эпизод является какой-то удивительной, загадочной вставкой в русскую историю, и чем больше уясняются факты, тем он становится, на наш взгляд, темней и непонятней. Сблизьте с эпохой смут фигуру Грозного – и она предстанет перед вами в трагическом величии. Значит, однако, не одна кровожадность и подозрительность заставляли его лить токи крови! Он чуял беду и боролся с ней до истощения сил. Прочтите его завещание, писанное в половине царствования: оно исполнено мрачных предчувствий, которые оправдались последующими событиями. Грозный впервые формулирует царскую власть как принцип, возводит ее к единственно доступному ему по тому времени идеалу византийского императорства; но и это кажется ему недостаточным: он производит себя от

Августа Цезаря, как будто для того, чтоб придать больше авторитета, прочности и силы своей власти. Откуда эти заботы? Неужели Грозному нужно было оправдывать царскую власть чужеземными идеалами и иностранным происхождением перед народом, который молил его возвратиться из Александровской слободы в Москву? Не наступи вскоре после смерти Грозного смутное время, мы были бы готовы приписать всю заботу, гнев, тревогу, опасения царя его тиранским наклонностям; но ввиду последующих событий такой приговор был бы наивен и опрометчив. Жестокости и казни Грозного – дело тогдашнего времени, нравов, положим, даже личного характера; но сводить их на одни психологические побуждения, имея перед глазами целый период внутренних смут и потрясений, невозможно. Должны были быть глубокие объективные причины,



вызывавшие Грозного на страшные дела. Причины эти были, по-видимому, следующие. Со времени Ивана III в состав Московского государства вошла значительная часть тогдашней западной России – Новгород, Псков, города и княжества литовские. С тем вместе должен был произойти оттуда значительный приток в Великороссию элементов, чуждых ее общественному складу, не дававших в западной России сложиться государству и столько же враждебных к нему в Великороссии. Эти элементы вошли, главным образом, в состав царских служебных чинов и, усилившись новыми литовскими и польскими выходцами из-за границы, получили в царствование Грозного большое влияние. Вспомним роль Глинских, стоявших во главе правления; Вельского, потомка Гедимины, соискателя литовского престола; к той же категории принадлежал и знаменитый Курбский. К этим элементам могли присоединиться старинные великорусские удельные князья, лишенные владений и обратившиеся в слуг московских государей; в то время московская знать едва ли меньше сочувствовала польским и литовским порядкам, чем впоследствии шведским, французским и английским. В попытках всех этих элементов изменить по своему идеалу государственный строй Великороссии, внести в него западнорусские начала и следует, как нам кажется, искать ключа к явлениям и событиям этой замечательной эпохи. В лице Грозного великорусское государство вступило в борьбу с западнорусскими и польскими государственными элементами, вошедшими в состав

– 225 –

Московского государства. Что это не одна догадка, доказывают обстоятельства избрания на престол Шуйского и, если верить Котошихину и псковской летописи, – самого Михаила Федоровича. Флетчеру, черпавшему свои сведения, по-видимому, в той среде, которая сочувствовала литовским и польским порядкам, предсказывали предстоявший переворот. Рассказ этого иностранца особенно любопытен как отголосок партий, игравших потом большую роль в событиях смутного времени.

Мы не станем развивать далее нашу мысль, боясь выйти из пределов очерка. Позволим себе только заметить, что разработка истории Ивана Грозного, собственно говоря, едва только еще начинается. До сих пор даже не определено критически достоинство тех источников, из которых почерпаются сведения об этой эпохе; а без такой предварительной работы нельзя и приниматься за подобный труд. Страсти и происки, разыгравшиеся впоследствии, зачинались уже при Грозном и встретились с ним лицом к лицу. Оттого так разноречивы сказания и отзывы о нем. Чтоб узнать правду, нужно отличать голос враждебных ему элементов от голоса великорусского народа; в свидетельствах иностранцев – их хроническое непонимание наших внутренних дел от народных сказаний и суждений, внушенных их личными расчетами или записанных со слов той или другой из тогдашних партий. Как бы мы ни смотрели на Ивана Грозного, царствование его, конечно, одно из замечательнейших в русской истории; а мы, даже до сих пор, все больше обращаем внимание на психологический характер его жестокостей, как будто в них вся сущность дела. Не то же ли это самое, что судить о последней американской войне по одним ее ужасам, о царствовании Петра по розыскам и казням, о нашем призвании в Польшу и Западном крае по судьбе враждебного нам элемента? Смотреть так на историю значит заранее отказаться от понимания величайших исторических эпох и событий. Ни в чем наше умственное несовершеннолетие не

выказывается так осязательно, как в том, что мы не только не понимаем, но почти не знаем царствования Ивана IV и даже мало им интересуемся, воображая, что, и не изучив его, можно понимать русскую историю; а между тем эпоха Грозного, по своему значению во внутреннем развитии Великороссии, есть преддверие к эпохе Петра и имеет с ней глубочайшую связь.

– 226 –

Нам остается еще, в заключение, сказать несколько слов о частном быте и нравах Великороссии. Они тоже определялись, и в общем и во всех подробностях, указанными выше зачатками, лежавшими в основании внутренней ее жизни. Пассивное восприятие чужой культуры, без собственной производительности; по преимуществу дисциплинарная роль церкви и первобытные формы государства – все это свидетельствует о первоначальной, грубейшей непосредственности людей, о крайне слабом развитии в них духовного, нравственного элемента, который немислим там, где индивидуальное развитие еще не начиналось. Это и отражается на частном быте и нравах, которые описываются самыми мрачными красками в туземных источниках и в сказаниях иностранцев. Величайшая невоздержность, всякого рода вероломство, обман, насилие, воровство, частые грабежи и разбои, шаткость во всем, своекорыстие, плутовство во всех возможных видах – вот в чем, на разные лады и с самых различных точек зрения, упрекается великорусский люд всех общественных разрядов и положений. Те же упреки, с небольшими вариациями, слышатся и до сих пор. Странно было бы считать эти пороки русского общества прирожденными и на этом основании отчаиваться в возможности их искоренения. Мы страдали и страдаем нравственной и духовной неразвитостью; наши пороки – признак грубого, незрелого, но не старческого, перезревшего общества. Его здоровые силы выражаются в том, что, чувствуя свою несостоятельность, оно крепко держится за свой государственный строй, обеспечивающий его политическую целостность и независимость. Приписывать первобытным формам государственного порядка Великороссии состояние тогдашнего общества значит извращать вопрос и видеть в следствии – причину, а в причине – следствие. Общество, развивающееся правильно, всегда будет иметь и соответствующие его историческому возрасту государственные формы; следовательно, вся сила во внутреннем развитии; оно должно стоять на первом плане и в историческом исследовании, и в практической деятельности.

В этом смысле можно также сказать, что частный быт и нравы древней Великороссии представляют оборотную сторону быта церковного, государственного и культуры, служат им пояснением и подтверждением. Это видно во всем, на что ни взглянем.

– 227 –

Откуда взялась, например, затворническая, теремная жизнь великорусских женщин высшего сословия в XVII веке? Не понимая ее связи с коренными основами великорусской жизни, мы или остаемся в недоумении перед этим явлением, или приписываем его влиянию татарщины. Но оно прямо вытекает из основных условий великорусского быта. Стоит вдуматься в наш народный взгляд на женщину вообще и жену в особенности – взгляд, выразившийся в пословицах, песнях и свадебных обрядах, – чтоб увидеть ясно, что теремная жизнь женщин есть лишь его практическое применение. Она потому только развилась в одних высших слоях старинного нашего общества, что прочие, по своим недостаткам и образу жизни, не могли точно так же устроить свой семейный быт. Аналогическое явление представляет почти повсеместное единоженство массы бедного магометанского народонаселения, несмотря на дозволение Корана иметь несколько жен. Только высшие классы старинного московского общества могли осуществить идеал домашней жизни, который носился перед целым народом и обустлавливался его основными социальными элементами.

Возьмем другую поразительную черту – еще весьма недавнюю безличность великорусской массы, отсутствие, в огромном большинстве, ясно определенного индивидуального характера, индивидуальной обособленности. И теперь еще, когда эта черта заметно сглаживается, она все еще очень заметна. Русская народная масса превосходна во всех отношениях; а выделится из нее человек – редко, очень редко найдешь в нем те качества, которыми не налюбуешься в целом народе. Еще в начале нынешнего века безличность наших народных масс поражала и изумляла не только иностранцев, но даже малороссиян, у которых, напротив, индивидуальность сильно развита вследствие их истории и сравнительно высшей степени культуры. Нам удавалось слышать от малороссиян, бывавших в молодости в Великороссии и возвратившихся сюда спустя лет двадцать, что они были удивлены, при вторичном приезде, переменой, замеченной ими в простом народе: по их отзывам, прежнее однообразие и неподвижность физиономии, прежнее совершенное отсутствие индивидуального характера значительно сгладились. Тот же факт подтверждается усилившимися, особенно в последнее время, разделами крестьянских семейств. Это

– 228 –

явление, конечно, объясняется разными другими обстоятельствами и новыми условиями крестьянского быта; но ими одними объяснить этого явления нельзя, потому что оно между самими крестьянами встречает много возражений – явный признак, что не одна внешняя обстановка побуждает сельский люд к семейным разделам.

Но не одни народные русские массы безличны. Безличностью и бесхарактерностью дышит домашняя и общественная жизнь, умственная и всякая деятельность, даже образованных слоев нашего общества. Живя долго за границей, в Европе, где индивидуальность определилась так резко и так характерно, приучаешься легко отличать русских, по какой-то неопределенности во всем – в наружности, в движениях, в разговоре и в самых взглядах на вещи.

Остановимся еще на одной черте. В Великороссии не было, да и не могло быть другой общественности, кроме, так сказать, домашней и семейной, или родственной. Ее мы и находим здесь, в старину, в полном развитии. Дом и двор, разросшийся, пустивший отпрыски и ветви, – вот единственный центр нашей старинной общественности. Народные обычаи и праздники – живые ее свидетели; еще недавние нравы и обычаи образованных классов великорусского общества доказывают то же самое, несмотря на указ об ассамблеях. Только великие события и бедствия вызывали тогдашних людей к совокупной общественной деятельности; проходили эти минуты, вступала ежедневная жизнь в свои права – и опять старинное русское общество распадалось на свои замкнутые домашние кружки. Сожительство на одних местах, многообразные точки соприкосновения между людьми лишь крайне медленно готовили общественную гражданскую жизнь. А между тем из всех славянских племен ни одно не одарено такими сильными государственными и политическими инстинктами, как великорусы; ни одно не являло их так блистательно через длинный ряд счастливых и тяжелых дней. Это кажущееся противоречие объясняется как нельзя лучше начальными формами нашего быта, из которых мы и до сих пор еще не выработались и не выработаемся, по-видимому, весьма долго. Много, и с разных точек зрения, обсуждался у нас вопрос о взяточничестве, всосавшемся в нашу плоть и кровь. Тысячи причин, и очень основательных, приводятся в

– 229 –

объяснение, почему оно явилось и чем поддерживается; но рассуждая об этой проказе, не обращают, кажется, должного внимания на очень любопытный факт, что большинство отъявленных взяточников и казнокрадов – лучшие отцы семейств, образцовые супруги, истинные благодетели своих родственников, верные и надежные друзья, вообще люди добрые и благотворительные. Что ж это показывает? Очевидно, все их хорошие стороны сосредоточены только в домашнем, семейном быту; только интересы семейные и домашние составляют для них серьезное дело; все, что вне этого круга – государство и общество, – являются, в их глазах, чем-то посторонним, внешним, чужим, до которого им нет дела; до этого рода интересов они еще не поднялись; другими словами, в их сознании и ежедневных привычках не выработалась, рядом с домашним бытом, среда государства и общества, менее непосредственная, более духовная, связующая людей и определяющая их деятельность невидимым, но оттого не менее реальным началом общественной пользы и блага. Если взглянуть глубже в нашу жизнь, то окажется, что не одни взяточники выражают собою этот вид неразвитости русского общества.

### III

Внутренний быт России, в том виде как он сложился в XVII веке, представлял округленное и законченное целое. Московское государство было азиатской монархией в полном смысле слова. Односложная формация осуждала его на совершенную неподвижность впредь до покорения другим народом или до внутреннего распада

вследствие собственной дряхлости. Остановись мы на этой точке и не иди далее – трудно было бы сказать, что выиграла Великороссия перед западной Россией и прочими славянами, покоренными чужеземному игу или принявшими исподволь нравы и язык других народов, более образованных. Самостоятельность на манер персидской или китайской едва ли чем лучше несамостоятельного участия в жизни других народов, которые играют роль во всемирной истории и общем ходе культуры.

Но к концу XVII в. замечается в Московском царстве брожение, какого в нем прежде не бывало. Прежние смуты были вызваны столкновением внутри государства

– 230 –

туземных элементов с чуждыми, внесенными извне в его состав. Волнения и неурядицы, предшествовавшие Петру Великому, были совсем другого рода. Они свидетельствовали о расслаблении связей, которыми до тех пор крепко держалось все общество. Появляется хаос в головах и в действительности. Никто не знает, как приняться за исправление беспорядков, которые все усиливаются и вырождаются в бунты, грозящие опасностью даже целостности и единству государственной власти. Видимо, внутренние, органические причины колеблют государство. И вот посреди этой неурядицы является Петр, с необыкновенной энергией и жестокостью подавляет смуты, преобразует внешним образом все формы быта и придает стране наружный вид европейской монархии того времени.

Если б реформа остановилась со смертью Петра Великого, то не могло бы оставаться сомнения в том, что Московское государство принадлежит к азиатской, а не европейской группе. Мало ли было брожений и великих государей на Востоке! Единичные явления сами по себе ничего не значат и подтверждают, а не опровергают общее правило. Внешний характер петровского преобразования служил бы в таком случае новым доказательством, что мы азиатский народ. Но в том-то и сила, что дело Петра не умерло после него на русской почве; напротив того, оно, несмотря на крайне неблагоприятные обстоятельства, пустило корни и продолжалось почти полтора века, вплоть до нашего времени. Вместо того, чтобы ослабить Россию, реформа вызвала к деятельности дремавшие в ней громадные силы и развила их в невиданных размерах. Вот почему нельзя не признать реформы Петра органическим явлением великорусской жизни – явлением, которое по своей своеобразности и необычности требует самого внимательного рассмотрения. Зная судьбы преобразования в России, мы не вправе говорить свысока, с пренебрежением о полувосточном характере брожения, которое предшествовало эпохе Петра, о крутом, насильственном, внешнем характере его реформы: все это имеет свое значение и свой определенный смысл, есть характеристика приготовления и обстановки событий, которым нет подобных в истории.

Спрашивается: какие внутренние, органические причины вызвали переворот? Чтоб правильно разрешить этот вопрос, постараемся уяснить себе, чем собственно

отличаются направление и характер нашей внутренней жизни до Петра и после Петра? Что представляет она в этом отношении нового в последние полтора века сравнительно с тем, что было до реформы?

Перемена, если в нее вдуматься хорошенько, поразительна. Наша жизнь усложнилась новым фактором; в нее внесен европейский идеал, во имя которого меньшинство русских людей стало расходиться с окружающей действительностью, относиться к ней отрицательно, иногда враждебно и, во всяком случае, критически и свободно. Каков бы ни был этот идеал, но он представляет новую силу, введенную в нашу жизнь со времени Петра Великого. С тех пор в ней выступает на первый план личная инициатива, индивидуальность выдается вперед из народной массы, в которой она ступеньковалась. Древняя русская история по своей простоте и правильному развитию принадлежит как бы к области естественной истории. Мысль не забегают вперед событий; ее вызывает необходимый ход вещей; человек только следует за ним, отражает его на себе, становится его орудием. Поэтому нет и разлада между действительностью и мыслью, нет внутренних противоречий в человеке и обществе: все однообразно, односложно и просто. Подумаешь, что не люди делают историю, а она делается сама собою, без всякого участия человека, по своим органическим, внутренним, непреложным законам; человека как будто нет вовсе, а действуют одни элементы и силы природы, движимые собственным естеством.

Все это изменилось с преобразованием Петра. Точно в жизнь вошел новый деятель, призванный всюду и во всем произвести разлад. В русском народе, односложном по своему составу, по складу жизни, по единству социального типа, выделяется целая среда – образованный класс, – которая живет чужою жизнью, принимает чужие нравы, меняет свой язык на чужой, прилепляется к идеалам, взглядам, требованиям, выработанным чужою жизнью. В древней России человек, отрешившийся от своего быта, бежал из него вон, на простор; никакого определенного образа гражданского и государственного, существования он не умел и не мог противопоставить тому быту, который отрицал, и потому менял его на леса и степи, где не было никакого устроенного человеческого общества. Теперь среда, выделившаяся из народа, остается посреди

его, отрицает установившийся народный быт не во имя какой-то безграничной, не существующей нигде свободы и разгула, а во имя идеала другого, высшего, лучшего быта и стремится водворить его в народной жизни, переделать ее по этому идеалу, пересоздать, согласно с ним, обычаи и нравы. Если б такая среда была внесена в русскую жизнь откуда-нибудь извне, представляла чуждый нам этнографический и исторический элемент, то у нее был бы один такой идеал; но преобразующая среда возникла у нас, между нами, и нами же пополнялась; русская голова и русская душа приняла чужие

идеалы, во имя которых переделывался наш внутренний строй, и потому было множество различных идеалов, смотря по времени, по обстоятельствам, обстановке и тысячи случайным условиям действовавших лиц. Отсюда разлад во всем. Быт перестраивался не всегда согласно с его внутренними требованиями, идеал осуществлялся, не всегда отвечая условиям действительности. Естественный, нормальный ход жизни был нарушен: мысль то опережала ее, то от нее отставала; действительные потребности то оставлялись без внимания, потому что не подходили под идеал, то удовлетворялись не так, как бы следовало, потому что на них смотрели не прямо, а сквозь предвзятую мысль. Появилось множество неестественных сочетаний, причудливых комбинаций в мысли и в самых фактах; создалась искусственная жизнь, искусственная действительность, которая, в свою очередь, вызывала искусственную мысль. Мало-помалу призраки перемешались с действительностью, иллюзии с трезвой мыслью. Возник среди действительной жизни целый мир фантазий и миражей, и различить их между собою не было сил. Смесь их опутывала человека и не выпускала из своего заколдованного круга. Заманчивая и обольстительная ткань, в которой ложь вплеталась в правду, истина в вымысел, ослепляла умственное зрение, лишала его даже способности замечать между ними разницу.

Теперь эта удивительная эпоха, похожая на арабскую сказку, приходит к концу. На это указывают несомненные признаки. Пристрастие к иностранному и чужому, видимо, сменяется в образованных слоях нашего общества охлаждением к Европе, даже не всегда справедливым предубеждением против европейского; национальное чувство растет быстро; идеалы и идеальное направление в

– 233 –

решительном пренебрежении, даже больше, чем бы следовало; мысль становится трезвее, получает практический склад, обращается к практическим интересам; стараются как бы нарочно окоротить ее полет и держаться исключительно в кругу ближайших, фактических условий действительности: в этом тоже заметна своего рода крайность, суживающая горизонт зрения. Такая перемена в направлении запечатлена духом реакции против прежнего; но это обстоятельство именно и доказывает, что эпоха, начатая Петром Великим, уходит в прошедшее.

Что выражала она собою? Возраст или степень развития, через которую проходит в той или другой форме каждый человек и каждый народ. В жизни человека это называется юностью; в жизни народов – героическим периодом. Главной движущей пружиной этого возраста является пробудившаяся умственная и нравственная деятельность, которая становится самостоятельным органом в судьбах человека и народа. На первых порах этот новый двигатель преисполнен сознанием своего всемогущества и неудержимо стремится подчинить себе все, даже самую природу и ее неизменные законы. Отсюда в эту пору жизни необыкновенное развитие сил, рвущихся проявиться наружу, упразднить действительность как она есть и переделать ее на другой лад, не соображаясь с тем, возможно ли это, допускают ли это законы природы. Ясное понимание свойства этой силы, ее призвания и назначения, ее пределов и отношений к действительному миру наступает позднее, и тогда она вступает в гармоническое сочетание с действительностью,

которой не может победить, из разрушительного, отрицательного элемента становится жидкительным условием осмысленной и правильно развивающейся жизни.

Наш героический век определился особенными обстоятельствами и условиями, в которых мы находились к концу XVII века. Если он нам кажется не таким привлекательным, как бы мы того ожидали от героического возраста, то это не его вина, а наша: мы стоим к нему слишком близко, теряемся в деталях и упускаем из виду целое. Это просто ошибка зрения. Если бы мы знали сухую, прозаическую истину о героическом периоде Греции, и притом с такую ужасающею подробностью, как знаем теперь даже Петра, – Бог знает, показался ли бы нам этот период таким поэтическим, каким мы его себе воображаем

– 234 –

сквозь легенды и сказания, в которых он до нас дошел. Отступите подальше и взгляните в перспективе на Петра, на Екатерину II, на Александра I-го – разве это не фигуры героев и полубогов древности? С точки зрения науки и исторической истины, такая близость к героическому периоду имеет свою очень выгодную сторону: по нашей истории мы можем проследить, почти шаг за шагом, как приготавлился этот период, какие были его составные элементы, как он родился из недр старинной русской жизни. Формы его даны прошедшим и им объясняются точно так же, как они, в свою очередь, бросают свет на предшествовавший период.

Мы сказали выше, что Московское государство к концу XVII века находилось в ненормальном состоянии. Это отлично обрисовано профессором Соловьевым в первой главе тринадцатого тома его истории. Перед нами картина разложения, с одной стороны, а с другой – слышится громкий протест против внутренних нестроений, искание выхода из растущих замешательств. Скрытая, но главная причина болезненного состояния общества заключалась в том, что простые, первобытные формы, которыми определялся старинный великорусский быт, оказывались уже недостаточными для возникавшей, более сложной общественности. Начальная социальная ячейка, двор или дом, и развившееся из нее крепостное право становились узки и тесны для сравнительно более зрелого государственного и гражданского быта. К Московскому государству уже не шли формы вотчины и дедины, к московскому государю – формы домоначальника, отчича и дедича: это чувствовали уже Иван III и еще более Иван Грозный; точно так же Ордин-Нащокин, Одоевский, Голицыны, Матвеев не походили на холопей, а Посошков, Исаев – на царских сирот. Страшные, вопиющие злоупотребления доказывали недостаточность системы управления, основанной на крепостном праве. В обществе стала появляться потребность образования – признак, что духовная жизнь пробуждалась, если не в целой массе народа, то в некоторой, лучшей ее части. Словом, все, на что ни взглянем, к чему ни обратимся, показывает, что общество и государство уже переросли старые формы; противоречие между ними и назревающим содержанием и было главной причиной внутренних неустойчивостей и брожения.



Какой выход предстоял древней России из такого положения?

Мы не разделяем фаталистических взглядов на историю и вовсе не думаем, чтоб можно было, как наваривалось прежде на философском жаргоне, «конструировать» Петра Великого, – доказывать, что он необходимо должен был явиться и не мог не явиться. Такого рода роковой необходимости мы не видим ни в судьбах отдельного лица, ни в судьбах народов. Есть в складе и развитии каждого организма известные основные черты и направления, которые с ним рождаются и сопровождают его до могилы: это типические свойства, которые могут быть исковерканы, обезображены, но не истреблены; они будут отзываться и в своем искаженном виде, в разных ненормальных явлениях. Есть, далее, известные состояния или положения, обуславливаемые известной степенью развития, известными обстоятельствами и обстановкой. Они – сложный продукт типических свойств, степени развития, наконец внешних условий и случайностей, под влиянием которых организм живет. Такие положения сами по себе переходчивы и потому могут изменяться коренным образом, но не сразу, а постепенно, исподволь. Они-то и представляют ближайшую, непосредственную живую среду внешней истории и внешних событий. В ней возникают явления самого разнообразного свойства, органические и случайные; на нее действуют самые различные внешние влияния, временные и постоянные. Глядя на причудливую и пеструю игру бесчисленных сочетаний, которые вследствие того появляются и исчезают в этой среде, как в калейдоскопе, мы не можем предсказать, какое именно обстоятельство, событие или случайность изменят данное положение; но если глубоко его знаем и хорошо понимаем, то можем, не дожидаясь совершившихся фактов, заранее приблизительно определить, какое будет общее направление и характер предстоящих изменений, потому что оба указываются положением и средой, на которую события и случайности действуют. Итак, можно, не будучи пророком, предугадывать вообще склон, течение жизни; изучая историческую эпоху, можно, точно так же, указывать на общие черты, определившие дальнейший ее ход; но никакой обыкновенный человеческий ум не в состоянии предсказать деятелей, обстоятельства и события. Когда историк пробует

«конструировать» лица и обстоятельства, он только себя и других вводит в заблуждение, потому что история не есть раскрытие алгебраической формулы.

Попробуем применить эти мысли к нашей эпохе преобразования, а для того забудем на минуту, что был Петр Великий, и ограничимся одним тем, что знаем о Московском государстве, и, на основании только этих сведений, попытаемся определить, каков мог быть характер и направление предстоявшего ему выхода из того положения, в каком оно находилось в конце XVII века.

При разрешении этого вопроса нам, естественно, представятся вот какие соображения.

В обществах с сложным внутренним составом образуются слои, которые, под влиянием вековой борьбы между собою, смыкаются в корпорации, сословия и вырабатывают каждое свой идеал общности. Эти идеалы – взгляд корпорации или сословия на то, как должно быть устроено общество с точки зрения того сословия или той корпорации. Каждая усиливается оспорить у другой власть и влияние на ход государственных дел и провести свой идеал, свои взгляды. Таким образом, общество сложного состава вырабатывает идеал нового порядка дел из себя. Когда существующий порядок, построенный по идеалу одной корпорации, оказывается недостаточным и неудовлетворительным, на смену его, изнутри того же самого общества, является другой, выработанный другой корпорацией. В какой степени он удовлетворяет требованиям всех составных элементов общества и пользам целого государства – это другой вопрос; но довольно, что идеал уже готов и что он родился в самом обществе.

Возьмем теперь государство с однослойным составом, каким было Московское. Литовско-польские элементы, внесенные в него, начиная с Ивана III, имели свой идеал и пытались водворить его у нас; но эти элементы истреблены, частью при Грозном, частью во время последующих смут; к концу XVII века они совсем исчезли. Затем, как и прежде, весь внутренний быт Московского государства был в XVII веке сверху донизу построен по одному типу или идеалу. Не из чего было образоваться корпорациям, сословиям, с особыми стремлениями; ничего подобного и не было, а были разряды, или «чины», царской службы, правда, отделенные друг от друга, но не имевшие внутренней замкнутости и организации; оттого не

– 237 –

было между ними никакой борьбы и они не имели своих корпоративных идеалов. Отсюда следует, что когда в таком обществе вековой исторический тип отживет свое время, ему нельзя заменить его другим идеалом, взятым из недр собственной жизни, а придется, по необходимости, искать его вне себя, у других народов.

Далее: потребность в идеале, взятом из чужой жизни, почувствуют сперва только те слои и стороны общества, которые вследствие разных причин, важных или неважных, постоянных или мимолетных и случайных, практически натолкнутся на неудовлетворительность существующего и необходимость заменить его новым, чужим. Таким образом, потребность преобразования всего сильнее будет чувствоваться на первых порах меньшинством высших слоев общества и в правительственных сферах, которые более доступны влиянию чужих стран, ближе видят и лучше понимают практический ход государственных и административных дел, чем остальная масса народа. Итак, преобразование пойдет неизбежно сверху вниз, а не снизу вверх.

В обществе неразвитом, без культуры, с одними природными наклонностями и инстинктами и внешней дисциплиной чужой идеал будет представляться со стороны внешних его форм и обстановки, да и вводиться он будет внешним образом. Чем меньше

развития и культуры в народе, тем он полнее, безотчетнее подчинится влиянию чужого идеала, примет его за образец себе во всем.

Когда раз чужой идеал будет внесен в жизнь народа, в ней произойдет внутренний разлад: явится партия нововводителей и партия приверженцев старого порядка. Иностраный образец послужит такой же закваской для внутреннего развития односложного общества, какую у других народов служит присутствие в их составе нескольких разнородных элементов. Около борьбы между защитниками нового и старого сгруппируются умственные силы страны; эта борьба делается центром и двигателем духовного развития; обе стороны должны будут все подробнее, глубже и точнее определять свои взгляды и программы, выяснять свои идеалы. Чем дальше, тем эта борьба будет становиться шире, обнимать больший круг интересов, распространится на все стороны жизни. Внутренняя борьба поведет к более точному определению

– 238 –

и усилению государственного единства и центральной власти.

Чужой идеал мы могли взять в конце XVII века только из Западной Европы. Это указывалось и внутренними признаками, и внешними обстоятельствами. Уже с Ивана III правительство стало обращаться к Европе за художниками, медиками, войском, мастерами всякого рода. Некоторые заезжие европейцы попали в большое доверие к царю Ивану Васильевичу. Число европейских выходцев к нам все увеличивалось, и при Алексее Михайловиче они считались в Москве тысячами. Сношения с европейскими государствами, начавшиеся тоже с Ивана III, познакомили высшие слои тогдашнего нашего общества с европейским бытом и нравами в самой Европе, на местах. С Остзейским краем, принадлежавшим тогда Швеции, мы находились в непосредственном соседстве. Вследствие всего этого, влияние Европы на высшие слои московского общества становилось в XVII веке заметным. Князю Хворостинину еще при Михаиле Федоровиче стало скучно в Москве, и он собирался бежать в Италию, а если можно – и дальше; дьяк Котошихин, оевропеившийся русский, бежал в Швецию. В книге профессора Соловьева собраны любопытные факты о влиянии европейских нравов и обычаев на лучших русских людей перед эпохой преобразования. Итак, путь к заимствованиям из Европы был уже проложен до Петра. Да и откуда же было нам заимствовать, как не оттуда? Византийская империя уже не существовала; из Польши нам мало что приходилось тогда занимать; притом же тамошние государственные порядки, приведшие ее к упадку, не представляли образца, достойного подражания: весь наш государственный и общественный строй был совершенно противоположен польскому, и к концу XVII века итоги сводились в нашу пользу, а не в пользу поляков. Только Европа, с ее внутренним благоустройством и высокой культурой, могла быть для нас предметом удивления и служить образцом, достойным подражания.

Итак, по состоянию Московского государства в конце XVII века можно было предугадывать, что если ему только предстоит обновиться, то такое обновление может произойти разве вследствие внешних влияний, всего вероятнее из Европы; что влияние ее должно начаться с высших слоев и правительственных сфер, через которые

и будет проникать в народ; что по низкой степени культуры в Московском государстве влияние на него Европы будет сперва, конечно, только наружное, вызовется практической потребностью лучших форм жизни и быта и уже потом, впоследствии, пробудит к самостоятельной деятельности живые силы страны и народа.

Все это можно было предвидеть и предсказать заранее. Так и смотрели иностранцы не только в XVII, а даже еще в XVI веке. Но никто в мире не мог предвидеть и предсказать, что преобразователем будет прирожденный царь и что этот царь будет, вдобавок, необыкновенный, великий человек. Ходу и направлению внутренней жизни России, намеченному всей нашей историей и развитием, он придал еще свой личный характер, наложил на них свою печать. Вот именно в этом, как нам кажется, и лежит источник глубоких недоразумений при всех суждениях о Петре Великом и эпохе преобразования. Не различая того, что определялось обстоятельствами, от личного действия Петра, мы, смотря по взгляду на вещи, или считаем его творцом и создателем России, как будто до него она вовсе не существовала, или, наоборот, видим в преобразовании горестный результат его гениального произвола, неестественный и горький плод его самовластия, не имеющий ничего общего с предыдущим ходом нашей внутренней жизни. В сущности, оба взгляда очень сходны между собою; ни тот, ни другой не признает никакого самостоятельного значения древней России; оба полагают всю силу, весь смысл и успех преобразования в одной личности Петра. Очень понятно, отчего это произошло. Петр Великий, как верно заметил г. Погодин, заслонил от нас своей огромной фигурой древнюю Россию. Новое направление русской жизни слилось в нашем представлении с именем Петра, как будто в нем воплотилось. Видя его везде на первом плане, неизмеримо выше всех сподвижников, главным орудием преобразования, душой нового дела, мы приписываем одной его личной деятельности то, что только в его лице выразилось ярко, выпукло, гениально. Когда новое направление проводится неограниченным государем и таким необыкновенным, каким был Петр, невольно забывается естественный ход вещей, который подготовил его подвиг и сделал событие неизбежным в той или другой форме. Все это очень понятная и естественная ошибка зрения, оптический обман;

но нельзя на такой ошибке строить историческую теорию, которая спутывает все понятия и делает правильную оценку предыдущей и последующей истории решительно невозможной.

Петр Великий и его эпоха есть начало нашего героического века. Не прошло еще и двух столетий, а величавый, удивительный образ его стал уже облекаться в мифическое сказание. Не будь у нас под руками несомненных исторических свидетельств, нельзя было бы поверить, что перед нами живое лицо, а не сказочный богатырь. Даже достоверная повесть о его ранней молодости дышит легендой и мифом. Он готовится к своему подвигу, по меткому выражению профессора Соловьева, не в старой России, а подле нее, вне обычной тогда обстановки царственных детей, между потешными, и в Немецкой слободе. Обстоятельства его как будто нарочно для того вырастили вдали от двора, чтоб поставить в совершенную независимость от той среды и нравов, которые он призван был преобразовать. Около него с юности составляет особая атмосфера, чуждая остальному. Грозный тоже уезжает на время из Москвы в Александровскую слободу, но снова возвращается в центр старинной русской жизни; Петр с детства чужд Москве, хотя и находится в ней, а потом оставляет ее совсем, бывает в ней наездом, изредка, и живет в Петербурге, который сам построил на новом месте. Какая быль больше похожа на сказку?

Петр Великий с головы до ног – великорусская натура, великорусская душа. Удивительная живость, подвижность, сметливость; склад ума практический, без всякой тени мечтательности, резонерства, отвлеченности и фразы; находчивость в беде; рядом с тем неразборчивость в средствах для достижения практических целей; безграничный разгул, отсутствие во всем меры – и в труде, и в страстях, и в печали. Кто не узнает в этих чертах близкую и родную нам природу великоруса? Но в каких громадных, ужасающих размерах она в нем высказалась! Несмотря ни на какие свидетельства, все как-то не верится и до сих пор, чтоб в самом деле мог жить на свете такой человек! Раз почувявши свое дело, свое призвание – а до этого он дошел не через книгу или раздумье, а практикой, опытом – Петр отдался ему всей душой, всем помыслом, без колебаний и оглядки, на всю жизнь. Труженик, в благороднейшем смысле слова, он не знал устал

– 241 –

и только перед смертью догадался, «коль слабое творение есть человек». Невозможного для него не было; все казалось ему возможным, чего он хотел, а хотел он, ни больше ни меньше, как пересоздать Московское царство в европейскую монархию, с европейским государственным устройством, администрацией, науками, искусствами, промышленностью, ремеслами, торговлею, сухопутными и морскими силами, даже с европейской общественностью, нравами и формами, – и рассчитывал выполнение этого плана не на сотни лет, а на свой век, желал сам насладиться плодами своего «насаждения».

С этой стороны Петр Великий есть полнейший представитель своей эпохи и ее преобразовательных стремлений. Формы, в которых они осуществились, принадлежат безраздельно времени, в которое он жил; Петру принадлежит необычайная сила, энергия, с которой велось дело, страстность, если можно так выразиться, темперамент реформы.

О преобразованиях на заграничный лад думали и до Петра; кое-что уже было сделано в этом направлении; но никогда еще до него преобразование не было возводимо в принцип; никто до него не проникался так всецело идеалом европейского государства и быта; а те,

которые проникались им, не выдерживали сравнения идеала с действительностью, не думали с нею бороться, чтоб переделать ее, и покидали страну. Петр внес этот идеал в русскую жизнь, вступил во имя его в борьбу с тогдашней действительностью. В этом смысле он довершил старое время и начал новое. Разрыв между стремлениями и действительностью был им доведен до последних пределов, но стремления получили цель, им придана сила и власть, цели подчинена жизнь и ее условия.

В отрицательном взгляде Петра Великого на старинный быт и нравы иные подозревают нелюбовь его к России. Но такой упрек относится к разряду тех странных, удивительных недоразумений, которыми преисполнены наши суждения об этой эпохе. Петр любил Россию по идеалу, который о ней составил, различал в ней ту, какую ее застал, от той, какую желал видеть, и старался приблизить ее к этому идеальному образу. Можно не одобрять его взгляда – это другой вопрос; но как подозревать его в нелюбви к России, когда он посвятил все свои силы, весь свой труд, всю свою жизнь на то, чтоб она стала,

– 242 –

какой ей следовало быть, по его убеждению? Нельзя работать неустанно, всю жизнь, без веры в дело, без любви к нему. Петр так трудился, потому что верил в способность русского народа преобразиться в идеальный образ, который перед ним носился. Прочтите гневные его письма к царевичу Алексею Петровичу. О чем вся забота? О том, чтоб сохранить «насаждение и уже некоторое и возвращенное» его «бедными и прочих истинных сынов российских равноревностных трудами». В чем главный упрек царевичу? В том, что царевич не помогает ему «в таких его несносных печалех и трудах». «Ты, – пишет Петр царевичу, – ненавидишь дел моих, которыя я, для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю и конечно по Мне разорителем оных будешь». Требуя от сына исправления, царь в первом письме грозит ему лишением наследства. «И не мни себе, – прибавляет Петр, – что один ты у меня сын и что я сие только в устрастку пишу: воистину (Богу извольшу) исполню, ибо я за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребнаго пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный». Во втором письме царь опять требует от сына, чтобы он изменился или пошел в монахи, «ибо без сего, – прибавляет он, – дух мой спокоен быть не может, а особливо, что ныне мало здоров стал». Во всем этом страшном, неслыханном деле Петр, сколько можно судить по тому, что мы теперь знаем, был, кажется, обманут. Тайная интрига, веденная очень искусно, вооружила его против сына, который, по видимому, не был умышленным врагом отца, а человеком неспособным и посредственным. Розыск и пытка не обнаружили заговора, а только недовольство. Если сведения, которые дошли до нас, полны, то мучительная смерть царевича Алексея лежит на душе Петра Великого. Однако чем можно было довести Петра до такой крайности? – только внушая ему мысль, что дело его попадет после его смерти в недостойные руки и погибнет. Из-за одной этой мысли Петр Великий забывает все, даже династические интересы, казнит сына и провозглашает начало, что царь имеет право назначить по себе преемника по духу, а не по плоти, не стесняясь потомством. Как государственное учреждение этот закон не выдерживает критики и не пережил Петра, но он вполне характеризует его личность и взгляд: все для дела, все для

государства и России, все должно преклоняться перед ними, служить только им, а не лицу, не личным интересам. Сам он служил им наряду с другими. Оттого какая простота в жизни, в обращении, в переписке! Ошибки свои – а кто ж не ошибается – Петр признает, даже в печатных указах, просит извинения в письмах. Дело прежде всего, а лицо – даже сам Петр – после.

Мысль о коренном преобразовании России по европейскому образцу созрела в Петре Великом, по-видимому, не вдруг, а постепенно. Как человек в высокой степени практический, Петр приведен был к тому наблюдениями, опытом и нуждой. К его времени мы уже вдвигались в круг европейских государств и принимали все большее участие в общих делах Европы. Сама сила вещей вынуждала нас облечься в европейские формы. Давнишняя наша потребность приобрести Остзейский край вовлекла нас в войну с Швецией, а это настоятельно потребовало преобразования войска по европейскому образцу и создания флота; эти реформы, в свою очередь, вызывали нововведения и перемены во внутреннем быте. Так мало-помалу идеал европейской монархии слился у Петра Великого с мыслью о потребностях, нуждах и пользах России, которые стояли у него на первом плане. Полезное, по его мнению, вводилось, несмотря ни на какие препятствия. Что оно не нравилось, еще не доказывало, что оно не хорошо. Мало ли что, замечает он в одном указе, принималось по принуждению, за что потом благодарили и что уже принесло плод? Вот чем объясняется принудительный характер преобразования. Оно было по необходимости внешнее, вводилось с страстью, возведено в правительственную систему и излагалось не в наизиданиях и книгах, а в законах и правительственных распоряжениях. Какой же могло оно иметь характер, кроме принудительного? Как человек безгранично убежденный в своем деле и нетерпеливый Петр действовал круто и жестоко. Одаренный страшной нравственной силой и энергией, он не понимал слабости, не допускал никаких уступок и сделок с обновляемой средой. Мысль о постепенности внутреннего развития, о переходных мерах была ему вовсе чужда, да и не по тогдашнему времени. С лишком полвека спустя после него во Франции точно так же мало заботились о постепенном переходе от старого к новому.

Учреждая в России новые порядки, Петр выписывал из-за границы иностранцев, давал им места в службе, водился с ними, ласкал их. Что могло быть естественней? Они тогда лучше нас знали дело, и потому Петр употреблял их. Но отсюда упрек, будто бы он предпочитал иностранцев русским. Какие же на это доказательства? Никаких, ни малейших. Напротив, иностранцы жалуются на Петра Великого, что он их дурно рассчитывает, не исполняет заключенных с ними условий, старается при первом

благовидном предлоге от них отделаться. Он вызывает из Европы фабрикантов, заводчиков, мастеров, и одно из первых с ними условий – обучить тому мастерству, фабричному или заводскому делу, русских. За исполнением этого условия строго смотрел царь и неисполнявших удалял из России. В коллегиях и присутственных местах определялись чиновниками иностранцы и русские – в равном числе; первые должны были обучать последних европейским административным порядкам и за то получали больше жалованья. Что не пристрастие именно к немцам или голландцам руководило в этом случае Петра, доказывается тем, что он старался с тою же целью вербовать в службу преимущественно «шрейберов цесарской службы», австрийских славян, знающих новое дело, а между тем говорящих на родных нам языках. На высших военных, и административных постах, кроме Лефорта, не встречаем при Петре ни одного иностранца – все до последнего русские. Зная иностранные языки, Петр писал и переписывался почти всегда по-русски.

Другой упрек Петру, и самый распространенный, заключается в том, что он будто бы нарушил предание, разорвал русскую историю и русскую жизнь на две, друг другу чуждые и даже враждебные половины; будто бы, благодаря Петру, мы утратили чувство народности и оттого блуждаем теперь, не зная, откуда и куда идем.

Это обвинение относится, разумеется, к тому, что Петр Великий привил к нашей жизни идеал европейской монархии и быта. Но взглянем в дело поглубже, не принадлежит ли этот упрек к числу странных недоразумений?

Мы уже сказали, что стремление к Европе и практическая необходимость подражать ей, заимствовать от нее появились в Московском государстве задолго до Петра и заметно усилились перед началом преобразования.

– 245 –

Значит, была уже в русской жизни склонность в эту сторону. Стало быть, Петр Великий не создал направления, за которое его обвиняют; он лишь его усилил, возвел в систему. Не только он не нарушил традиции, а напротив, следовал преданию московских государей с Ивана III и особенно с Ивана Грозного.

Не должно также забывать следующего, очень важного обстоятельства. Говоря, что Петр Великий насильственно привил русскому народу чужой идеал, мы, собственно говоря, сильно преувеличиваем. Не только огромное большинство народа осталось совершенно чуждым и враждебным этому идеалу, но даже в высших слоях русского общества очень, очень немногие пристали к нему с убеждением. Борьба между привитым чужим и своим началась, если хотите, даже до Петра; при нем она стала ярче, продолжалась и после него, продолжается даже и теперь, изменив только свои формы. Следовательно, никак нельзя утверждать, что Петр убил в нас чувство народности, лишил нас связи с прошедшим; он только внес, правильнее сказать, только усилил элемент брожения, а вместе с тем и развития в нашей односложной жизни. С его времени яснее выступила вперед внутренняя борьба, которая, в других формах, по другим поводам, происходит у всех народов, играющих роль в истории. Где нет такой борьбы, там нет жизни и развития. Она



необходима, чтобы выяснить народное самосознание, вызвать к деятельности народные силы. Если у нас возникла теперь потребность отдать себе отчет в самих себе, понять себя, то это благодаря преобразованию, которое началось еще до Петра. Итак, дело реформы не было нарушением нормального хода нашей жизни, а напротив, естественным, необходимым ее продолжением.

Наконец, нас смущает внешний, принудительный, характер петровской реформы, и из него мы выводим, что если б Петр не вздумал так круто и насильственно вносить в нашу жизнь чуждых элементов, то они бы вовсе в нее и не вошли. Но во-первых, европейские элементы появились в России уже до Петра; а потом – взглянем поближе, куда приведут нас подобные рассуждения. Если мы могли обойтись без европейской закваски, то, значит, в ней не было никакой надобности; стало быть, старинная русская жизнь имела уже в себе все необходимые условия и задатки для дальнейшего, самостоятельного

– 246 –

развития. Каким же чудом один человек, хотя бы и необыкновенный, гениальный, мог всего в каких-нибудь четверть века сдвинуть целый русский народ с его прямого пути, отклонить его от естественного, самостоятельного развития на целые полтора года? Делая упрек Петру Великому, мы этим как будто хотим возвысить значение древней России, а на самом деле только вторим тем, которые называют Петра творцом новой, низводим старую Русь на степень исторического материала, до такой степени мягкого и несамобытного, что гениальный человек мог вылепить из него что ему было угодно. Мы думаем, что для объяснения внешнего и насильственного характера петровской реформы нет никакой необходимости прибегать к предположениям, из которых совсем не то следует, что они должны доказать. Дело, как мы сказали выше, объясняется гораздо проще. В конце XVII века потребность преобразования сильно чувствовалась в России. По односложности нашей жизни и по степени нашего развития в XVII веке мы были способны только к внешнему, а не к внутреннему преобразованию; а всякое внешнее действие есть, по необходимости, принудительное, насильственное; более или менее это уже зависит от обстоятельств, характера деятелей, времени и нравов народа и тому подобных условий. Петр, по своему личному характеру, провел реформу сильно, стремительно, жестко и сурово. Не будем же терять из виду самого дела из-за его случайной обстановки.

Наконец, рассуждая о реформе и ее последствиях, мы опускаем из виду, что все образованное меньшинство русского общества бросилось в «прорубленное Петром Великим окно в Европу» и протеснялось туда наперерыв, неудержимо, с удивительной энергией, до нашего времени. Будь направление, данное Петром нашей жизни, неестественным, оно бы и кончилось с его смертью, тем более, что большинство современников смотрели подозрительно и враждебно на его нововведения, а ближайшие преемники его власти не имели ни его гения, ни его силы, ни его взглядов. И что же мы видим? Несмотря ни на что, образованное русское меньшинство с небывалым самоотречением бросается навстречу европейскому влиянию и идет по этому пути гораздо далее Петра Великого, до отступничества от всего родного, до забвения родины и самого языка. Неужели можно приписать такое

течение мыслей, такое направление меньшинства русского общества в продолжении нескольких поколений одной подражательности, угодливости, суетности, легкомыслию или случайности, обратившейся потом в дурную привычку? Бесспорно, все это играло большую роль, точно так же как и во всяком другом историческом явлении рядом с хорошими участвуют и дурные стороны человеческой природы. Но ведь мы знаем, что не одни льстецы и пустые люди шли у нас по этому пути. В сравнительно малочисленном слое русского общества, который безраздельно отдался европейскому влиянию, было много людей талантливых, умов глубоких и светлых, людей, горячо любивших родину, искренно искавших правды. Эти люди, отрешавшиеся от России нередко до забвения русского языка, честно, с убеждением служили ей мечом и пером, честно умирали в битвах за ее независимость и достоинство. Таких людей было немало, и мы их еще помним. Они доказывают своими делами и жизнью, что реформа на европейский лад при Петре не была случайностью или прихотью, а отвечала известной, живой потребности и потому не была нарушением естественного течения русской жизни. Нам теперь она кажется такою потому, что отжила свой век. Но прошедшего нельзя мерить настоящим. Всему есть свое время и своя мерка.

От этих общих соображений обратимся к ближайшим, осязательным, практическим. Возьмем внешние и внутренние вопросы, которые поднял и разрешил Петр, и посмотрим, отклонил ли он хоть один из них от его естественного, правильного течения, нарушил ли он в этом отношении традицию? Самое внимательное изучение коренных русских вопросов того времени докажет совершенно противное; мы увидим, что все они разрешены Петром Великим в том самом смысле и направлении, в каком ставились перед преобразованием. Приведем в подтверждение несколько примеров.

Говорят, Петр приложил последнюю печать к закреплению народа. Мы не знаем и даже не можем догадаться, на чем основан этот упрек? Не на том ли, что при нем помещный и холопий приказы слиты в один? Но проследите внимательно законы XVII века: к концу его помещные крестьяне стали такими же крепостными, как вотчинные; права владельцев на крестьян ничем также не отличались в это время от прав на холопей. Но допустим,

что Петр действительно сделал новый, окончательный шаг к слитию этих различных разрядов несвободных людей в один: разве можно сказать, что он разорвал предание? Подобная мера в то время, когда все было подведено под форму крепостного права, не

может ни в каком случае назваться нововведением, противным духу старинных учреждений.

Находят, что смешение поместного права с вотчинным показывает грубое незнание нашего старинного юридического быта. Но мы хотели бы, чтобы нам показали, чем в исходе XVII века поместья отличались от вотчин? Такого различия не существовало уже до Петра. Оно удерживалось только по имени.

Назовут, может быть, нововведением, противным духу старины, табель о рангах, учреждение и устройство сената? Но стоит только проследить историю местничества и постепенного упразднения его, начиная с Ивана III, чтоб убедиться, что замещение мест по годности к службе, а не по роду, было задачей, к разрешению которой московские государи стремились постоянно. Петр и разрешил ее в этом смысле.

Преобразования Петра по духовному ведомству были довершением начатого при Иване III, особенно при Иване IV, и последующих мер, принятых в течение XVII века. Сделанное Петром по этой части представляет весьма последовательное развитие задуманного задолго до него и оконченного его преемниками.

Как мы уже видели, не Петр стал впервые приглашать на службу иностранцев; задолго до него начали это делать московские государи, уже со времен Ивана III.

Первое начало регулярного войска положено Иваном IV в учреждении стрельцов. Сообразно с общим характером древней России, они из войска обратились в общественный и вместе служебный разряд, жили семьями в особых слободах и торговали, отправляя военную службу как повинность, подобно казакам. Около них возникли новые виды регулярных войска, сперва иноземных, потом, по образцу их, и русских. Петр только преобразовал эти войска, заменив ими все бывшие дотеле различные их роды.

Называют нововведением татарским и ненавистным установление при Петре подушной подати; считают эту меру шагом назад, сравнительно с стариной, когда

– 249 –

существовало посошное тягло, или подать, определявшаяся по количеству и качеству земли. Но послушайте, что говорят современники; посмотрите, на что народ жалуется беспрестанно и горько в течение всего XVII века: его тяготит именно раскладка повинностей по земле. Земли были обмерены, Бог знает как. Вследствие тяжких податей люди, крестьяне и посадские, разбегались, а с оставшихся, часто очень немногих числом, правили, что следовало, на основании посошной раскладки. При таких обстоятельствах введение подушного налога было благодеянием, разрешением вопроса, поставленного стариной, и притом разрешением самым разумным в то время, когда не земля, а рабочая сила имела цену.

Коллегиальное устройство тоже не было нововведением. Зародыши его находим уже в устройстве приказов.

Суд по форме, установленный Петром, был не что иное, как организованный, определенный законом старинный суд судебных приказов. Жалобы на бесчисленные, вопиющие дела московских судов XVII века вызвали не коренное их преобразование, а более точное определение судебного порядка, причем, по возможности, предусмотрены и устранены важнейшие и обычные в то время злоупотребления. Не вина Петра, что после него – и мы до сих пор не знаем, когда именно и как – старинный словесный суд заменился письменным.

Важнейшее дело и забота всего царствования Петра – завоевание и упрочение за Россией балтийского побережья – было задумано не им, а задолго до него, еще Иваном Грозным.

Можно привести много других примеров в доказательство, что и во внешних и внутренних делах Петр Великий продолжал начатое его предместниками, шел по пути, указанному всей нашей историей. Перерыва в ней никакого при нем не произошло; только все старинные, вековые задачи сошлись в это царствование, как в один фокус, и сильно двинуты к развязке; дело столетий сжато и втиснуто в какие-нибудь четверть века. Повторяем, нас вводит в заблуждение темперамент преобразования, оригинальная, своеобразная форма, приданная ей необыкновенной личностью Петра. Вот, как нам кажется, существенная и единственная причина всех наших недоразумений.

– 250 –

Говоря это, мы далеки от мысли оправдывать каждое действие Петра Великого, каждую принятую им меру. Во многом он, разумеется, ошибался; многое из того, что он ввел, оказалось несостоятельным еще при его жизни или после него; зато другое пережило века и стоит до сих пор твердо; многое из задуманного им еще не осуществилось; к иному, пришедшему в упадок и забытому, может быть, придется еще воротиться. Но дело вовсе не в том. Существенная сторона вопроса о Петре Великом и его эпохе заключается не в критическом разборе его планов и их выполнения, не в оценке практического достоинства его законов и распоряжений, а в определении места, занимаемого петровской реформой в нашем историческом развитии. Мы старались показать, что она есть органическое продолжение старины, вытекла из нее необходимо и естественно и представляется нам каким-то скачком потому только, что вводилась у нас одним из величайших деятелей истории, который своею необыкновенною личностью и делами затмил обыденный ход нашей исторической жизни. Восстановить потерянное в сознании преемство внутреннего нашего развития, указать органическую связь там, где теперь представляются как будто порванные концы исторической нити, – вот теперь главная, первая задача русской истории. Разрешить ее необходимо не только в видах удовлетворения исторической любознательности, а для того, чтобы внести хоть сколько-нибудь света и порядка в нашу мысль, блуждающую в невероятном хаосе и тьме. Все наши недоразумения, если их разобрать хорошенько, сводятся, мы глубоко в этом убеждены, к тем, которые скопились около Петра Великого и его эпохи; а они, повторяем, произошли от смешения дела реформы с личностью Петра. Преобразование, по ходу древней русской жизни, было неизбежно, неотвратимо. Не явись Петра, оно приняло бы, вероятно, какие-нибудь другие формы, но все-таки, рано или поздно, непременно бы совершилось. Петр дал только

преобразованию известный вид, форму, темперамент, определил ее ход на последующие времена.

Петр Великий принял титул императора и окружил царскую власть внешней обстановкой европейских монархий. Этим обозначалось окончательное вступление России в политическую и международную систему Европы. В общем ходе нашей истории и преобразования эти нововведения разумелись сами собою.

– 251 –

Гораздо важнее было новое значение, которое Петр Великий придал царской власти внутри государства. Мы заметили выше, что с Алексея Михайловича наше внутреннее развитие, отклоненное от своего естественного хода приливом польско-литовских элементов, снова восстановилось. С тех пор царская власть является вполне такою же, какой была при Иване III, при Василии Ивановиче, при Грозном и Годунове и какая сложилась в представлениях великорусского народа. Петр Великий только возводит ее в государственный принцип, в идею, освобождает от исторически сложившихся и уже обветшавших форм, которые напоминали давно отжитый в государственной сфере тип домонархика. Принцип этот он проводит по всем ступеням государственной иерархии.

Некоторые считают Петра Великого основателем самодержавной власти в России. Но это ошибка. Самодержавие родилось с Великороссией. Андрей Боголюбский был такой же самодержец, как Всеволод Большое Гнездо, как московские великие князья и цари до смутной эпохи. В этом отношении, как и всегда, ошибка происходит оттого, что дело не различается от лица, у которого оно в руках, которое его представляет и ведет. Петр Великий выражает начало старинной царской власти гораздо резче, определеннее и сознательнее, чем все его предшественники (исключая, впрочем, Ивана Грозного), потому только, что он не только царь, но и преобразователь, что в его лице выразилась и сосредоточилась реформа, что он был ее двигателем и орудием. Борьба необходимо определяет точным образом принципы, приводит к ясному их сознанию. Иван III высказывает новгородцам определительно и точно, чего требует от них московский великий князь, в чем сущность его власти; Василий Иванович – псковичам; царь Иван Васильевич Грозный формулирует свою власть в борьбе с литовско-польской олигархией; точно так же и Петр Великий в борьбе с старинными государственными и общественными порядками в России, которые начали преобразовывать, только выражает с совершенною определительностью существо царской власти, которая испокон века принадлежала русским государям.

Но не создавая самодержавия, Петр придал ему своею деятельностью, своею личностью, своею жизнью новый характер и в этом смысле определил весь последующий ход нашей истории. Преобразование, как мы сказали выше, возведено им в правительственную систему и вошло с его времени в число атрибутов верховной власти вполне

согласно с глубочайшими инстинктами русского народа. Служа государству и государственным пользам преданнее, неутомимее, бескорыстнее, вернее последнего из своих подданных, Петр своими «несносными печальями» и великими делами вписал навеки в наш государственный устав, что власть есть труд, подвиг, служба России, прежде всех и больше всех. Это был его завет и благословение потомству, пережившие его армии и флоты, его «виктории» и учреждения, его слабости и ошибки. Оттого после Петра менялись правительственные системы, направления, взгляды, темпераменты, а власть осталась непоколебимой через весь последующий, тяжелый период нашей истории. Преобразование и служение русскому государству и русскому народу осталось ее знаменем и до наших дней, когда, по-видимому, довершается дело Петра, прикладывается последний камень к его зданию и начинается новый период нашего исторического существования.

Что Петр своим лицом и своею жизнью укрепил царскую власть, начавшую было перед ним колебаться, поднял ее и придал высокое нравственное и народное значение – в этом его величайшая, бессмертная заслуга перед Россией. Наступала пора глубокого внутреннего перерождения, когда сильная центральная власть есть для народа вопрос существования. Ей предстояло у нас не только представлять с достоинством Россию при внутренних смутах, при борьбе враждебных друг другу направлений, при олигархических стремлениях, при революционных движениях в Европе, подымавших против нас внешние бури, но, что было несравненно труднее, ей, по целому ходу нашей истории, выпадала на долю крайне трудная задача – продолжать в то же самое время начатое Петром Великим дело внутреннего нашего преобразования.

Новый период нашей истории мы понимаем, если возможно, еще менее, чем отношение Петра Великого и его эпохи к древней России. Европейские формы, в которые снаружи облеклась наша жизнь, спутывают все наши мысли и заслоняют от нас действительность; а она, между тем, идет своим чередом, решая одну за другой задачи, поставленные всей нашей историей, и которых истинного смысла мы не умеем себе объяснить.

Реформа Петра была, как мы видели, внешняя. Он переменял одни лишь наружные формы нашего внутреннего быта и заменил их иностранными, что, разумеется, не могло переродить нас в европейцев. Эти реформы были

только новым условием нашей жизни, под влиянием которого она стала исподволь развиваться далее.

Ход этого развития представляет высокий, животрепещущий интерес. На поверхности русского общества замечается после Петра полная безурядица: тысячи стремлений и

направлений, проникнутых европейскими задачами и интересами, страхами и надеждами и не имеющих прямой связи ни с народной жизнью, ни между собою. Рядом с ними и в пестром с ними смешении живут старинные взгляды, понятия, привычки и предрассудки, плод вековой жизни и опытов. Те и другие борются между собою, но часто уживаются мирно в одном лице. Хаос совершенный, приводящий в отчаяние, в котором ничего нельзя разобрать.

А между тем под этой разнохарактерной оболочкой совершается дело истории, медленно, в правильной постепенности. Старинных разрядов, служебных и общественных, Петр едва коснулся и завещал их новому времени. Никакой внутренней организации он не мог им дать, потому что она не дается, а вырабатывается самою жизнью. На почве «чинов», в старинном смысле слова, и крепостного права, исключавших всякую тень органической общественной жизни, нельзя было основать ничего прочного. Всякие попытки придать правильный строй нашей общественности при такой почве не могли вести ни к чему. Петр менял несколько раз учреждение городов и провинций – и все понапрасну. Те же заботы продолжаются и после него, при его преемниках, и тоже не приводят ни к каким существенным, положительным результатам.

Так продолжается до половины XVIII века. С этого времени начинается, с одной стороны, постепенное упразднение крепостного начала, с другой – видны попытки организовать наш внутренний быт.

Постепенное упразднение крепостного права и дарование гражданских прав русскому народу совершалось, как и все движение нашей жизни, сверху вниз, начиная с высших слоев общества и оканчивая низшими, и шло, не прерываясь, до нашего времени. Сперва получили гражданские права дворянство, духовенство и купечество, потом разнородные средние слои общества, затем казенные крестьяне, наконец, помещичьи. Снятие административной опеки с государственных крестьян, которые при императоре Александре I были свободными только по имени и лишь в последующее царствование получили

– 254 –

гражданские права, заключает ныне собою этот ряд преобразований старинной русской жизни.

Несравненно труднее было заменить прежний крепостной строй правильной организацией, тем более, что отмена крепостного права совершилась не вдруг, – а отлагать вопрос внутреннего устройства впредь до окончательного уничтожения крепостных отношений было невозможно.

Петр III и Екатерина II вводят сословную организацию, которую в применении к городам начал вводить еще Петр Великий. Старинные служебные разряды преобразованы в европейские сословия, старинные городские тягловые общества – в замкнутые европейские муниципии. Но сословия и городские корпорации, выросшие на исторической почве, совершенно различной от нашей, не могли у нас приняться. Наши

старинные служебные разряды или чины и тягловые общества, плод нашего односложного государственного и народного состава, не имели ничего общего с европейскими сословиями и корпорациями, выработавшимися вследствие долгой внутренней борьбы разнородных составных стихий европейских государств. Под влиянием новых условий государственного быта бывшие разряды или чины только разомкнулись, и некоторые из них освобождены от обязательной службы; множество разрядов, старых и новых, с наследственным служебным характером, продолжали существовать подле сословий, отчасти в их составе, под именем «званий» и отменены окончательно лишь в нынешнее царствование. Что касается тягловых городских обществ, то старинная их замкнутость, вытекавшая из условий их крепостного и служебного быта в XVII веке, упразднена целым рядом постановлений, изданных в царствование Александра I и Николая. К ним тоже не привилось европейское начало городских корпораций.

За сословной организацией, по мере распространения гражданских прав на все состояния и звания, появляется общинное, земское устройство. Начало его введено в наше законодательство в минувшее царствование с образованием обществ государственных крестьян и с изданием нового с.-петербургского городского устройства; но обширное применение получило оно лишь в нынешнее царствование. Теперь общинное устройство узаконено во всех без изъятия крестьянских обществах, а из городов распространено на Москву и Одессу. Введением земских учреждений оно сделало важный шаг вперед, обнимая

– 255 –

теперь уезды и губернии, и в заведывании местными делами, местными интересами, отчасти заменило сословное устройство.

Таким образом, петровская эпоха была, во всех отношениях, приготовлением, при помощи европейских влияний, к самостоятельной и сознательной народной жизни. Участие европейского элемента в нашем быту было нужно не для одних практических целей, но и для нашего внутреннего развития. Люди и народы приходят к самосознанию через сравнение себя с другими, и чем предмет для сравнения лучше, краше, развитей, совершенней, тем полней и глубже человек и народ вникают в самих себя, открывают в себе неизвестные им самим, дремлющие в бездействии силы. Такому периоду жизни соответствуют пробуждение и развитие индивидуальности и выработка форм для предстоящей деятельности. Самостоятельная русская мысль и жизнь, которые должны наполнить эти готовые, но пока еще лишённые содержания формы, далеко впереди. Образованный слой русского общества, за очень редкими исключениями, продолжает по-старому питаться чужими мыслями, действовать по чужим образцам. Мы до сих пор едва догадываемся, что наши взгляды – выводы из чужой жизни, и добродушно принимаем их за результат самостоятельного нашего развития. Вот где источник наших внутренних противоречий и разлады. Не понимая себя и среды, к которой принадлежим, мы блуждаем в потемках, ходим ощупью, куда и как случится. Наша умственная и нравственная жизнь, не имея еще пока корней у себя дома, не имеет по тому же самому и никакого центра тяжести и носится в воздухе; при всем блеске наших природных способностей она холодна, бесплодна и мертва. Она согрется, оживет и сделается



плодотворной только с той минуты, когда опустится из неопределенной шири на русскую почву, прильнет к ней и будет из нее питаться. Уравновесить умственные и нравственные силы с действительностью, соединить в одно гармоническое целое мысль и жизнь может отныне одно только глубокое изучение самих себя в настоящем и прошедшем. Других путей нет и быть не может.